

ВЯЧЕСЛАВ
ПЬЕЦУХ



ДОГАДКИ

Вячеслав Алексеевич Пьецух

Догадки (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162540

Пьецух В. Догадки: повести и рассказы: ООО «Глобулус», ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС»; М.; 2007

ISBN 978-5-94851-200-6, 978-5-93196-750-9

Аннотация

Биография человечества – то, что мы называем Историей – вещь смутная, а местами и вовсе непонятная. Вот живут люди, живут и не ведают, что это они не просто живут, а творят Историю. И даже из «прекрасного далека» не всегда поймешь, кто просто жил, а кто творил... И как нам, нынешним, разобраться, отчего один из российских императоров гонял родовитых бояр в хвост и в гриву, возвращая новое дворянство, а другой – это самое дворянство изо всех сил прибирал к ногтю. Опять же не понять, почему это народ у нас все безмолвствует и безмолвствует... Вот и получается, что ни разобраться, ни понять нам своих собственных исторических путей. Но ведь интересно, как оно все было на самом деле, а еще интереснее, что было бы, если бы...

Вячеслав Пьецух поделился с нами своими «догадками»...

Содержание

ОТ АВТОРА	4
Происхождение и облик русской цивилизации	5
Бухало и террор	24
Догадки	30
Капитан Костенко	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Вячеслав Пьецух

Догадки

повести и рассказы (сборник)

ОТ АВТОРА

Это неправда, что «любовь и деньги правят миром», – миром правят деньги и дураки. А поскольку дурак – явление, можно сказать, таинственное по причине своей несовместимости с понятием «хомо сапиенс», в истории человечества полно загадок, к которым в другой раз даже не подступиться, не то что убедительно разгадать. Дурак так завернет процесс, спровоцирует такие фантастические обстоятельства, собьет с пути истинного столько благородных и дельных людей, что только начнешь разбираться в причинно-следственных связях, так сразу ум расступается, как выражались наши пращуры в старину.

Самое обидное, что благородные и дельные люди-то ни при чем. Архимед сидел себе в городе Сиракузы, что на Сицилии, и, может быть, уже выдумывал паровой двигатель, когда кто-то где-то развязал очередную пуническую войну и какой-то олух из древних римлян зарезал его мечом. Аристотель, кроме всего прочего, был выдающимся педагогом и воспитал множество талантливых учеников, но его ли это вина, что один из них сдуру решил покорить ойкумену, дошел до Индии и умер от болотной лихорадки, предварительно положа на полях брани многие тысячи человек...

Словом, историю делают по преимуществу дураки. Наше отечество отнюдь не составляет исключения из этого правила, и так нам досталось на пути от Перуна до корпоративных вечеринок, то есть столько загадок в истории государства Российского, что при всем желании до конца ее не понять. Например, почему у адмирала Федора Федоровича Ушакова, героя Калиакрии и Архипелага, было бабье, пухленькое лицо?

А бог его ведает, почему. То есть разгадки тут вряд ли возможны, и за давностью времени, и вообще. Но **догадки** – это куда ни шло.

Происхождение и облик русской цивилизации (курс лекций)

Жил-был московский уроженец Владимир Иванович Пирожков.

Происхождение его характеризуем как предельно демократическое, поскольку прадед Владимира Ивановича до семилетнего возраста состоял в крепостных, хотя и помер от дворянской болезни – скоротечной чахотки, дед трудился на винокуренном заводе братьев Рукавишниковых и пропал без вести в русско-японскую войну, отец всю жизнь прослужил в транспортной милиции и скончался в одночасье неведомо от чего. По материнской же линии все предки нашего Пирожкова были земледельцами Серпуховского уезда Московской губернии, за исключением его матушки Ларисы Николаевны, которая работала в отделе кадров на фабрике «Физприбор». Впрочем, он приходился что-то уж очень дальним родственником Антонине Пирожковой, третьей и последней жене писателя Исаака Бабеля, после расстрельного за дружбу с Ягодой и многими прочими людоедами из ЧК.

Сам Владимир Иванович рос порядочным шалопаем, как и большинство мальчишек послевоенного времени, и даже за ним числились два привода в милицию и угон инвалидной коляски у соседа по этажу. Тем не менее во время о2но, то есть задолго до II-й Буржуазной революции 1991-го года, он закончил институт тонкой химической технологии имени Менделеева, что на Пироговке, и, таким образом, приобрел статус русского интеллигента в первом поколении, очень несбалансированный и чреватый опасными поползновениями во вред соции и себе. Неудивительно, что года через два после завершения институтского курса у него вдруг прорезался странный недуг: он постоянно куксился и мечтал.

Это еще потому неудивительно, что в России невозможный климат, то есть ограниченно пригодный для существования человека, даже если он непривередлив и фаталист. Все-таки шесть месяцев в году намертво стоит зима, когда «сиротская», когда с трескучими морозами; весна и осень так скоротечны, что их едва прочувствуешь, а летом бывают затяжные дожди и никогда не вызревает такая не самая прихотливая культура, как баклажан. Словом, во всей Европе не найдется этакого подлого климата, как у нас в России, и диву даешься, рассуждая: о чем только думали наши пращурь, когда решили осесть на этих финноугорских пустошах, среди безжизненных суглинков, в лесной глуши. И вот представишь себе нашу средневековую деревеньку, или пусть деревеньку нового времени в пять дворов, стоящую за сто верст от большой дороги, снега, наметенные злыми ветрами по самые подоконники, непроглядную темень, которая уже в ноябре опускается на страну в четвертом часу дня, что-то непереносимо тоскливое, завывающее в трубе, – и сразу станет понятно, почему наш народ потомственно задумчив и не очень авантюрист.

То же самое пейзаж; исконная Россия – это тысячи километров едва обжитой равнины от польской границы до Уральского хребта, дремучие леса, подпирающие небо, тихие реки и луга, объединенные скотиной под площадки для гольфа, а главное, просторы, просторы, вгоняющие в мечтательность, как в столбняк. Недаром русский человек – сторонник скромной, взвешенной красоты и у него отменный вкус, а заборы, наличники и кладбищенские кресты он потому красит голубой краской, что просто другой краски в продаже нет; при этом он не любит ничего избыточного и скорее графичен, нежели колорист. Вместе с тем в нашем русачке действительно развита нездоровая мечтательность, сбивающая его с толку, то есть он одновременно рисует в воображении разные вавилоны и чувствует себя как-то гриппозно, нехорошо.

Однако ничто так не воспитало нас в настоящем виде, как градус склонения земной оси относительно солнца, который дает эти наши долгие, томительные сумерки и тради-

цию сумерничанья, широко распространенную даже и в самые последние времена. Как-то, бывало, все вдруг стихнет в природе, когда солнце уже сядет за линию горизонта, но воздух еще светел, и этот продолжительный и немного нервный антракт между вечером и ночью обязательно навеет некую жизнеутверждающую тоску. То есть мысли в эту пору приходят хорошие, но печальные, по преимуществу о вечном, а никак не о прибавке к жалованью и не про виды на урожай. Так-то и в одиночку у нас исстари сумерничали, и вдвоем, и небольшими компаниями – лучше всего вдвоем: в окне едва различишь ветку сирени, но света еще не зажигали, за стеной, допустим, передают по радио фортепьянную музыку, а вы сидите друг против друга, опершись локтями о подоконник, и томно молчите, думая о «черных дырах», а то шепотом обменяетесь мнениями на тот счет, почему все поэты алконавты и чудаки.

Такие вещи не проходят у нас бесследно, они как-то запечатлеваются в родовой памяти и передаются из поколения в поколение наравне с неулыбчивостью или мистической способностью соединять в себе вороватость и романтизм. Вероятно, оттого Владимир Иванович Пирожков вскоре после окончания института стал все кукситься и мечтать.

Впрочем, этот недуг, кажется, настиг его несколько раньше, на втором или на третьем курсе, когда ему в голову пришла мысль, что он думает иначе, и чувствует не так, как другие люди, но главное, он понимает то, что не понимает почти никто. Положим, сидит он на лекции по научному атеизму, слушает измышления доцента Мордюкова насчет стихийного богоборчества Баруха Спинозы, а про себя думает – все не то. Минута пройдет, другая, и вот уже Пирожкову видится, как он стоит за кафедрой на месте бестолкового доцента и держит речь о том, чего не понимает почти никто.

«Соотечественники, братья, – обращается он к аудитории, – послушайте, что скажу... Хотя происхождение русской цивилизации темно и облик ее смутен, одно нам известно точно, как расстояние до Луны: эта цивилизация выросла из немереной вероспособности русского человека и питалась ею на всем протяжении исторического пути. Причем объектом этой веры могло послужить что угодно, и вообще он (объект то есть) принципиального значения не имел.

Например, наши пращуры как-то дружно уверовали в то, что именно варяги призваны спасти восточное славянство от неминуемой гибели в результате бесконечных межплеменных столкновений; и что же: действительно, явился из далекой земли Рустринген конунг Йорик Скъелдунг «со всею своею русью» и заложил основы нашей государственности, которая существует вот уже двенадцатое столетие, несмотря на происки недоброжелателей и врагов. Спрашивается: зачем варяги, почему варяги, а не кто-нибудь из наследников шаха Хосрова II Парвиза из династии Сасанидов? – на это ответа нет. Впрочем, вера на то и вера, что ей ни ответы на вопросы, ни резоны, ни доказательства не нужны. Хотя, казалось бы, Сасаниды нам были сподручней, поскольку на Руси долго оставались под запретом шахматы, игральные карты, театр и танцы, преступников до Петра Великого включительно частенько сажали на кол, наши женщины сидели взаперти и ходили к воскресной обедне без малого в парандже.

После Русь приняла Христа. Романогерманцы, узнав о Спасителе от римских диссидентов, четыреста лет над Ним насмехались, а у нас Его приняли сразу и безоговорочно, точно только того и ждали, когда до днепровских берегов донесется истина о спасении на кресте. Это тем более удивительно, что после грозного Перуна и С° нам было, казалось бы, слишком затруднительно смириться с несправедливым устройством жизни, научиться пренебрегать внешними благами, вот так сразу полюбить притеснителей и врагов. Но и смирились, и научились, и полюбили, да еще так неистово, что произвели половцев в «своих поганных», до Петра Великого включительно (это когда Паскаль уже открыл основы кибернетики)

отрицали любое знание, кроме библейского, и поныне существуем, «как птицы небесные», не особенно налегая на праведные труды.

В том-то все и дело, что Христос у нас закрепился в народном сознании как инстинкт. Вроде бы и космос излазили и нигде Бога не нашли, и заел народы злостный материализм, а нам все внешние блага сравнительно нипочем. Видимо, русское сердце устроено таким образом, что Бог есть, даже если Его нет, то есть постольку Он представляет собой объективную, даже материальную силу, поскольку мы исполняем Его завет.

А много позже нас околдовало немецкое учение о прибавочной стоимости и диктатуре пролетариата, и мы сломя голову принялись строить царство Божие на земле. Новая религия имела те неоспоримые преимущества, что предполагала не мечтательное царство счастья невесть где, а действительное, которое можно было руками потрогать, и непосредственно по месту жительства, что она сулила не отложенное блаженство за бог весть какие заслуги, а почти немедленное, за конкретные качества и дела. Хотя в результате из затей с царством Божьим не вышло ничего путного, не приходится удивляться, что новая религия породила в материале фантастическую империю, сродни искусственной планете из сапожных колодок, и держала в струне многие поколения русаков. Дело в том, что вера в России – это белая магия, которая при самых неблагоприятных обстоятельствах дает нечто из ничего...

Между Христом и Марксом мы еще свято верили в то, что любой Тамерлан пустится наутек, если показать ему образ Владимирской Божьей Матери; что никакое дело нельзя начинать 13-го числа; что земля Божья и объектом частного владения быть не может; что спасение состоит в том, чтобы, по примеру писателя Льва Толстого, кушать растительную пищу и выносить за собой горшок; что «ежели зайца бить, он спички может зажигать»; что деньги – зло; что научно-технический прогресс избавит человечество от греха.

Наконец, апофеоз российской вероспособности: в 1666 году (число, как известно, сатанинское) по стране разнеслась весть о неминуемом светопреставлении, и миллионы наших землепашцев не стали по весне засеивать поля, пожгли свои усадьбы, оделись в чистое и расселись на пепелищах дожидаться Божьего, окончательного суда. Конца света не состоялось, но странное дело: не вымерла Россия, а, видимо, как-то пересидела это дело на лебеде.

То есть выживаемость наша внушает уважение, а вероспособность – прочную надежду на будущее, ибо мы пересидели такие невзгоды, какие без веры невозможно было пересидеть...»

Ну и так далее, вплоть до того момента, когда его слова покроет теплый аплодисмент.

Году в семидесятом Пирожков женился на одной провинциалочке по имени Наталья Сергеевна Голубец. Родом она была из маленького приволжского городка со смешным названием, и то ли там всех девушек халатно воспитывали, то ли провинциалки вообще москвичам в жены не годятся, но семейная жизнь у них поначалу не задалась...

Однако за несколько лет до женитьбы с Владимиром Ивановичем случилось некое происшествие, о котором необходимо упомянуть.

Именно на четвертом курсе в его группе сложилась небольшая антисоветская организация, состоявшая из студентов: Коновалова, Воронковой, Суматохина, Гуревич и Блохина. В действительности это был самый что ни на есть марксистский кружок теоретического направления, но поскольку тогдашний большевистский режим имел так же мало общего с марксизмом, как инквизиция с посланиями апостола Павла, то это, конечно, была прямая фронда Старой площади и Кремлю. Посему студенты прибегали ко всем ухищрениям конспирации, чтобы не попасться, как-то: напридумывали себе подпольные клички, изобретательно зашифровывали протоколы собраний, машинописный журнал, выходивший ежеквартально, нарочно называли «Стрекоза и муравей», а сходки всегда устраивали в особенно многолюдных закусокных и пивных... Владимир Иванович вступил в организацию послед-

ним и сразу показал себя радикальным подпольщиком, так как еще со времен приводов в милицию в нем зрели неудовольствие и протест.

И вот как-то раз, в институтском гардеробе, стоит Пирожков в очереди за пальто, а гардеробщица ему и говорит:

– Слыхал, Пирожков, какие творятся у нас дела?

– Нет. А что такое? – спрашивает Владимир Иванович и делает выжидательные глаза.

– Ну как же: оказывается, в нашем институте действует подпольная фашистская организация!..

– Не слыхал.

Владимир Иванович ответил тетке, напустив на себя полнейшее, даже какое-то небрежное равнодушие, но на самом деле в животе у него что-то оборвалось. Он не с первой попытки влез в рукава пальто, вышел на улицу и подумал, что если, несмотря на все ухищрения конспирации, даже институтская гардеробщица знает о существовании их организации (даром что тетка совсем не ориентируется в политических направлениях), – то дело как будто дрянь. Впрочем, казалось странным, что насчет студенческого кружка остаются в неведении районная служба госбезопасности, первый отдел, комитет комсомола и деканат. Разве что органы, как и все прочее в стране, работают спустя рукава, или просто самые осведомленные люди у нас – это как раз граждане при пальто.

Как бы там ни было, Пирожков решил срочно созвать сходку в пивной у Савеловского вокзала, где всегда стоял такой пьяный гул, что и своих слов было не разобрать.

На сходку явился весь кружок, за исключением Блохина, у которого был запой. Взяли пива, соленых сухариков, и Владимир Иванович сообщил товарищам о происшествии в гардеробе, взволновавшем подпольщиков чрезвычайно, до такой степени, что кружок единогласно заявил о самороспуске, покуда о нем не проведала госбезопасность и ребят не рассовали по лагерям. Одна Роза Гуревич после настаивала на продолжении борьбы из принципиальных соображений, уверяя товарищей, что-де самороспуск обрекает их на прозябание в рамках насквозь прогнившего режима, а вот антисоветская деятельность марксистского толка, напротив, сулит яркую жизнь и даже, может быть, высылку в какую-нибудь порядочную страну.

Когда Роза заводила эти речи, Пирожков потел от страха и явственно видел себя в зале суда, на скамье подсудимых за дубовыми перилами; вот он тяжело поднимается со своей ужасной скамьи и заводит речь:

«Соотечественники, братья, послушайте, что скажу... Поскольку человек как феномен природы и духовное существо органически несовместим с каким бы то ни было государственным устройством, постольку бессмысленна всякая политическая борьба. Приведу цитату из классики; вот Дмитрий Мережковский пишет: «Социализм, капитализм, республика, монархия – только разные положения больного, который ворочается на постели, не находя покоя», – вот это не в бровь, а в глаз! То же самое в браке: хоть десять жен смени – лучше не будет, все та же раздвоенность, зависимость, глупые хлопоты, думы про черный день.

Дело в том, что русская цивилизация начиналась с разлада между норманнским абсолютизмом и вольным славянским духом, которому все нипочем, все не по сердцу и ничего-то не свято, кроме ориентации на авось. (Мимоходом обращаю ваше внимание на один филологический казус, именно уникальный случай трансформации наречия «авось» в существительное «авоська», то есть сетчатую сумочку, которую у нас постоянно таскают с собой в рассуждении «авось чего-нибудь да куплю».)

Так вот оно было бы лучше всего, кабы наша цивилизация так впредь и развивалась бы в русле разлада между норманнским абсолютизмом и вольным славянским духом, который (разлад то есть) обещал в будущем многие замечательные плоды. Как-то: живую, обороти-

стую государственность, поскольку самостоятельный народ держал бы власти постоянно настороже; беспокойную научно-техническую мысль, поскольку русский человек со зла что угодно изобретет.

Во всяком случае, у нас наметилось бы какое-то интенсивное существование в рамках Московского государства (это непременно условие), обеспечивающее благоденствие, прогресс во всех сферах и воспроизводство народных сил. Ан нет: по непонятным причинам вдруг как-то сама собой наладилась антанта между властями предержажими и народом, поступательное движение пресеклось в силу основного закона диалектики, и мало-помалу сник вольный славянский дух. Может быть, сказалось наше природное добродушие, которое чаще всего выражается в избыточности гостеприимства, может быть, наши пращурьы были очарованы западноевропейским лоском своих государей, а может быть, причина в хладнокровной, резко-континентальной мысли – дескать, сидит себе молодец в Киеве, правит державой, и хорошо.

Итак, спелись у нас эти две силы, народ и государство, в конце концов сойдясь на платформе греко-российского православия, но этот альянс после разразился многими губительными последствиями, которые нетрудно было предугадать. С одной стороны, мы получили бесшабашную власть, державшую ответ единственно перед Богом и посему самовлюбленную, тупую, бессмысленно строгую по отношению и к аристократу, и к простолюдину, которые отнюдь не перечили ей ни в чем. С другой стороны, из этого альянса вышел весь русский человек, вечно витающий в эмпиреях, озлобленный, добродушный, мечтающий, как бы чего украсть. Отсюда и характер нашей цивилизации, ибо цивилизация в России – это именно человек.

У романогерманцев сие понятие включает в себя дороги, учреждения, иерархию ценностей и разные ухищрения человеческого ума. У нас тоже есть дороги и учреждения, но какие-то они неотчетливые, и поэтому полнее всего судить о характере русской цивилизации можно только по характеру русака.

В основе его переплелись ненависть и любовь; не то что квелые симпатия и терпимость или антипатия и предрасположенность, а ненависть до самозабвения и любовь из последних сил. Например, русак обожает своих владык и одновременно терпеть их не может за самодурство, как мужья в годах нежно любят своих юных жен-красоток и в то же время ненавидят их как раз за юность и красоту. То-то наши домоседы издавна бегали от администрации куда глаза глядят, аж до самого Охотского моря, вместо того чтобы деятельно существовать в границах Московского государства, и тем самым предупредили нашу главнейшую геополитическую беду. Ведь и теперь, и прежде народонаселения у нас было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы обиходить пространство от Смоленска до Урала и от Архангельска до хохлов. На черта нам, действительно, сдалась эта Сибирь со всеми ее неисчерпаемыми богатствами, если ее за безлюдьем и освоить-то невозможно, если из-за нее русский человек дошел до такого разврата, что умеет только копать, а прочие операции ему либо вовсе не даются, либо даются, но не вполне.

Между тем обеспеченность, как правило, имеет своим источником недостаточность, например: у китайцев испокон веков есть было нечего, и поэтому у них выработалась изысканная кухня; в России издавна свирепствовала цензура, и поэтому у нас развилась замечательная словесность, уникально углубленная в человека; романогерманцы погрязли в материальном благополучии, и поэтому у них не всякий слышал про Кантов императив. У нас, правду сказать, тоже не всякий знаком с неэвклидовой геометрией Лобачевского, но совсем по другой причине – оттого что водка возмутительно дешева.

Самое любопытное, что, несмотря на сложные отношения между властями предержажими и народом, они похожи друг на друга, как две головы нашего государственного орла. Помилуйте: у нас и многомиллионное простонародье носило последний рубль на дело

освобождения братьев-славян от османского ига, и царь Павел I посылал картель (это такой письменный вызов на поединок) тем государям Европы, которые не соглашались на вечный мир; у нас и продотряды из городского пролетариата вымаривали по полдержавы, и деспот Иван Грозный вырезал целые города; у нас и староверы сжигали себя живьем за неубедительный идеал, и кремлевские вожди горели на работе за неубедительный идеал. Главное, понятно, зачем Колумб потащился Америку открывать, – затем, чтобы отыскать новые торговые пути к пряностям и золоту Индии; а зачем наш Ермак двинулся отвоевывать Сибирь у хана Кучума, – это непонятно, потому что в Сибири жить нельзя, каторжные тюрьмы можно было понастроить и на Вологодчине, а соболь водился во множестве под Москвой.

Следовательно, всякое противоборство с существующим порядком вещей есть бессмыслица, мальчишество и зряшная трата сил. Вот, не приведи господи, какие-нибудь башибузуки свалят наших коноводов-большевиков, которые по мере возможности, а больше из инстинкта самосохранения, ублажают рабочий люд, – такая в стране закрутится карусель, что народ надолго уйдет в себя. Отсюда делаем генеральный вывод: это жестокое заблуждение, будто миром правят любовь и деньги, – миром правит глупость, в том или ином градусе дураки...»

Ну и так далее, вплоть до того момента, когда его слова покроет благосклонный аплодисмент.

Итак, вскоре после окончания института тонкой химической технологии Пирожков женился на девушке из провинции по имени Наталья Сергеевна Голубец. Семейная жизнь у них вот по какой причине не задалась: в первые годы супружества, при попустительстве Владимира Ивановича, несчастная Наталья Сергеевна сделала четыре аборта, и он жену не то чтобы возненавидел, а как-то к ней по-человечески охладел. Вину детоубийства он в конце концов безоговорочно принял на себя, но, по правде говоря, не так мучился соучастием в преступлении, сколько тем, что Наталья Сергеевна не только не чувствовала угрызений совести, а и взяла моду исподтишка поглядывать на мужчин.

Скорее этот грех возбуждал в нем движение мысли, подогретое чрезмерной начитанностью, вообще нехарактерной для среднего русака. Владимир Иванович читал с четырехлетнего возраста, к шестнадцати годам дочитался до «Феноменологии духа», и в зрелые лета его мысль изощрилась настолько, что за время относительного безделья в научно-исследовательском институте синтетических материалов он открыл непосредственную связь между деянием и судьбой. Как раз в это время на него посыпались разного рода неприятности: то ни с того ни с сего откроется гастрит, то его переведут в лаборанты за препирательства с начальством, то украдут портфель.

Обращаем внимание на ту многозначительную закономерность в природе, что совершенно счастливых людей не бывает, даже просто счастливых более или менее последовательно, как не бывает кристаллического воздуха и компота из огурцов. Будь ты хоть европейская знаменитость, хоть богач из богачей, хоть замужем за генералиссимусом, хоть расправедник, – все равно тебя точит, на манер зубной боли, какая-нибудь вредная мысль, или сын у тебя дурак, или ты на ровном месте наживешь себе геморрой. Эта закономерность грозно-таинственна, и ее внутреннюю логику, кажется, не постичь; положим, человек всю сознательную жизнь простоял у шлифовального станка, случая не было, чтобы он жену пальцем тронул, единственный неприглядный факт его биографии тот, что он лицо невнятной национальности, а поди ж ты, и геморрой беднягу замучил, и под старость думы наваливаются, и сын у него дурак.

А впрочем, что такое счастье? Ответа нет; то есть сколько существует человек как мыслящее животное, столько на вопрос этот ответа нет. Вернее, на самом деле ответов так много, чересчур много, что настоящего ответа как раз и нет. Кто скажет, что счастье – это про-

сто-напросто отсутствие несчастья; французы стоят на том, что «Счастье – это вымытая голова»; большинство наших соотечественников считает, что счастье – это чистая совесть, ничем не запятнанное представление о себе.

Кроме того, не исключено, что добродетель – одно, а судьба – другое, и причинно-следственной связи между ними не существует, что можно всю сознательную жизнь простоять у шлифовального станка и кончить бездомным алкоголиком, который питается на помойке, больше похож на свежего покойника и потому шарахается от своего отражения в темных стеклах и зеркалах. Но Владимир Иванович этой гипотезы даже не допускал; примерно в то время, как у него украли портфель с документами, черновым вариантом доклада о неспаренных электронах, калькулятором и запасной зубной щеткой, он уже неуклонно исповедовал связь между деянием и судьбой. Разве что оставалось выяснить, какого качества злодеяния обеспечивают предельно тяжелые последствия, если душегуб с большой дороги заслужил вечное блаженство через луковку, поданную Христу; и почему именно Германн угодил в сумасшедший дом – потому ли, что он довел до смерти старую графиню, или потому, что он девушку обманул... Одно было ясно, как божий день: совершенно счастливых людей не бывает оттого, что слаб человек и нет такого мужчины и такой женщины, которые в течение жизни не совершили бы самонаименьшей пакости, автоматически обрекающей на беду.

В раздумье Владимир Иванович теперь часто уходил из дома под вымышленным предлогом или безо всякого повода – встал, надел на затылок кепку с пуговкой и ушел. Обычно он отправлялся бродить на Павелецкий вокзал, долго шатался в толпе прибывающих и отъезжающих, наблюдал народные типы и размышлял о связи деяния и судьбы. Больше всего Пирожкова интересовали бездомные бродяги, которые обитали в подвале полуразрушенного складского помещения у подъездных путей, питались на задах столовой ремонтного депо и при помощи самодельной центрифуги гнали спирт из ворованного мебельного лака, сильно разбавляя его водой. Лица у них были отравленные, заплывшие и по-детски несчастные, и Владимир Иванович думал: это какие же преступления нужно было совершить, чтобы понести такую страшную кару, чтобы судьба низвела тебя до положения человекоподобного существа. Но потом ему становилось совестно, перед глазами вставали четверо белокурых малышей, которых по его милости лишили жизни еще до жизни, и тогда он приходил к убеждению, что это была бы сравнительно пощада, если бы судьба всего лишь низвела его до положения человекоподобного существа. Он живо представлял себе, как сидит в холодном, сыром подвале среди таких же бездомных бродяг, обезображенных мебельным лаком, и потирает руки над пламенем костерка. Сидит он на пластиковом ящике из-под пива, тупо глядя в огонь, объятый беспримерным ощущением одиночества и заброшенности, сидит и неожиданно заведет:

«Соотечественники, братья, послушайте, что скажу... Вот бытуем мы с вами наги и босы, как библейские персонажи, да еще пьяненькие во все дни, а между тем нет народа свободней нас.

Вообще свобода – это неотъемлемое право человека принять сторону добра, и поэтому она есть следствие, а не причина, не инструмент. Но с другой стороны, свобода издревле понимается как именно неотъемлемое право человека вытворять, что заблагорассудится, по крайней мере, у нас в России, поскольку у нас в России население какое-то несовершеннолетнее, даже когда старики составляют огромное большинство. Ведь мы, русаки, народ молодой, как народ государственный – даже юный, и, стало быть, нам нипочем здравый смысл, трезвый расчет и, например, дисциплина умственного труда. Оттого-то и нет народа свободней нас; помимо всего прочего у нас наблюдается атрофия чувства собственности, которая очень освобождает; мы подвержены разного рода аффектациям, а в другой раз нам на все начхать; наконец, мы поверхностно аморальны, в том смысле, что способны на все – от подвига самопожертвования до бессмысленного зверства и от изысканных манер до свин-

ства по мелочам. Что уж тут говорить о нашем брате, босяке, который пьет мебельный лак, если целая огромная нация, которая пользуется казенной водкой, свободна, даже до неудобного свободолюбия, что называется, чересчур.

Все дело в том, что соседи по континенту слишком плотно нас обложили и нам не у кого было поучиться, например, дисциплине умственного труда. Хотя мы и без того на четыреста лет позже романогерманцев приняли христианство, на четыреста лет позже устроили национальную государственность, но, правда, потом это отстаивание стали помаленьку наверстывать, сведя его примерно до сотни лет. Так, Наполеон надул французов на столетие раньше того, как ту же операцию проделал с русскими Сталин, англичане отменили рабство в своих колониях всего-навсего на тридцать лет раньше, чем у нас упразднили крепостное право одновременно с освобождением американских негров, – а это уже прогресс. Другое дело, что с демократическими свободами в России опять вышла заминка на целых три века, но это, может быть, даже и хорошо.

Почему хорошо: потому что вольный славянский дух, даже пониженной консистенции, не вступает в реакцию с демократическими свободами, а ежели и вступает в принудительном порядке, то на выходе следует ожидать недюжинный результат. По-настоящему эффективно демократические свободы работают в сообществах упрощенной конфигурации, логичных взаимосвязей и самых обычных свойств. Положим, разнузданная свобода слова плюс триста лет фабричного рабства непременно воспитают в романогерманце комплекс гражданских добродетелей, но если он свободен, фигурально говоря, наплевать в глаза любому государственному чиновнику и ему за это ничего не будет, то даже для романогерманца такая фронда потеряет всяческий интерес; тогда ему останутся только биржевые сводки, покер по субботам и прозябанье в кругу семьи.

А русский человек сложен, опасно сложен, отчасти потому что он слишком свободен по своей славянской природе, как, впрочем, и некоторые другие народы мира, но ведь он векует свой век под гнетом регламентации, взбалмошного начальства, государственной идеи, нелогичных взаимосвязей, преданий и предрассудков и до того дошел, что не зарекается от тюрьмы. По этой самой причине в нашем народе выжила величайшая из литератур, народился политический терроризм, возникла стойкая тенденция к богоискательству, сложилась пословица «Какие сани, такие и сами», давно утратился интерес к интенсивному земледелию и с Владимира Святого пошла мода на неудовольствие и протест.

Следовательно, облагодетельствовать такое существо (в частности, выдумавшее матерную брань) демократическими свободами, и особенно свободой слова, – это уже будет масло масляное или, как говорят картежники, перебор. Действительно, какого еще рожна ему нужно, если он свободен от всего, кроме этических норм, изложенных в Нагорной проповеди, хотя бы только по понедельникам; может все, кроме преступления против человечности, если карта ляжет; и всегда понимал свободу как неотъемлемое право человека принять сторону истины и добра.

Но самое занятное, что внешние свободы бессмысленны, когда они есть, и плодотворны, когда их нет. Вот мы столетиями жалуемся на притеснения со стороны властей, а я сейчас приведу цитату из классика; Лев Толстой пишет: «Мне говорят, я несвободен, а я взял и поднял правую руку»...»

Ну и так далее, вплоть до того момента, когда его слова покроет глупо-восторженный ропот, потому что бродяги давно позабыли, что такое аплодисмент.

Несмотря на постоянные контры с женой, Владимиру Ивановичу Пирожкову никогда и в голову не приходило с ней развестись, даже принимая во внимание то прискорбное обстоятельство, что вследствие четырех аборт Наталья Сергеевна уже не могла родить. Так они и жили помаленьку вдвоем в однокомнатной квартирке на Вальной улице: разве что суббот-

ним вечером Пирожков отправится поиграть с приятелями в преферанс, а так они по утрам завтракали на кухне за миниатюрным столом, потом отправлялись на работу, ближе к концу дня воссоединялись в своей квартирке и, как правило, не делали ничего. То есть Наталья Сергеевна либо тупо смотрела телевизор, либо бралась за ревизию своим бесчисленным шкатулочкам, а Владимир Иванович или читал, или лежал на диване и размышлял. В другой раз он скажет:

– Вот Пушкин пишет: «Откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро»...» Имеется в виду, что когда тебя заела тоска, нужно напиться, а то почитать какую-нибудь веселую ерунду.

– Ну и что? – для проформы спросит Наталья Сергеевна, не отрывая глаз от своей любимой передачи «Система грез».

– А то, что хотя Пушкин был и великий поэт, я бы его поправил. Надо было так написать: откупори шампанского бутылку *и* перечти «Женитьбу Фигаро». Всего и делов-то, что заменить союз «или» на союз «и», а уже совсем другое послевкусие и букет.

Наталья Сергеевна тяжело вздохнет и скажет:

– Ты бы лучше подумал, как нам разжиться средствами на ремонт.

Тем не менее до скандалов у них дело не доходило, и отчасти по той причине, что Владимиру Ивановичу было не до того. В те поры он живо заинтересовался вопросами воспитания детей и подростков, поскольку за неимением собственных наследников находил массу скверностей у чужих. Все-то ему казалось, что новое поколение и по-русски разговаривает не так, и ведет себя на людях непозволительным образом, и одевается не по-людски, и думает не о том. Уже его произвели в старшие научные сотрудники, уже им с женой выделили земельный участок на станции «Отдых», что по Казанскому направлению, уже взяли верх демократические настроения и как-то сам собой рассосался большевистский режим, а он все никак не мог решить для себя вопрос, отчего это новое поколение и по-русски разговаривает не так, и ведет себя на людях непозволительным образом, и одевается не по-людски, и думает не о том. Положим, сидит он на институтском митинге, созванном на предмет поддержки Межрегиональной группы, а сам рисует в воображении Всероссийское родительское собрание, на котором он держит речь:

«Соотечественники, братья, – апеллирует он к бескрайней аудитории, – послушайте, что скажу... Нечто происходит с нашими детьми нехорошее, предвещающее если не общенациональную катастрофу, то, по крайней мере, государственную беду. Обратите внимание: нынешнее поколение подростков маловоспитуемо, плохообучаемо и физически нездорово, точно кто порчу на них наслал. А может быть, и впрямь тут имеет место порча, – только опирающаяся на вполне материальное основание, подчиненная объективным причинно-следственным связям и обнаруживающая четкую историческую канву. То есть ясно, откуда веревочка вьется и в чем причина упадка сил.

Когда в России еще знали Бога, подросток мало-помалу превращался в человека через родовое предание, основанное на заповедях Бога-отца: убивать людей не годится, красть нельзя и блудить не нужно, а нужно добывать хлеб насущный в поте лица своего, чтить отца с матерью и непрестанно думать о Судном дне. А потом Россия разошлась с Богом, причем разошлась безболезненно и хладнокровно, – тут-то порча и завелась. Это еще когда, откуда ни возьмись, объявились молодые люди, которые решили, что как раз убивать людей можно и даже нужно, если они причастны к отправлению самодержавия, и красть можно, если похищенные ценности идут на борьбу угнетенных против угнетателей, а хлеб насущный сам посыплется с неба, если упразднить частную собственность на средства производства и хорошенько прижучить культурный класс.

В том-то вся и беда, что мы слишком охотно и безоглядно приобщаемся к новизне, слишком легко меняем старых богов на новых, Перуна и С° на Христа, Христа на Маркса,

Маркса на рубль целковый и телепередачу «Система грез». Вот романо-германцы столетиями держатся одной и той же иерархии ценностей: труд, семья, счет в банке и Бог по воскресеньям, – а у нас то «православие, самодержавие, народность», то «грабь награбленное», то «парень в кепке и зуб золотой».

Сдается, это все идет от национального комплекса неполноценности, воспитанного в нас четырехсотлетним отставанием от романо-германской цивилизации, – оттого нет в нас этой самодостаточности, которая обеспечивает плавное движение и стабильность, оттого мы так переимчивы (Гоголь называл сие свойство «обезьянством»), так нервно-внимательны ко всему, что происходит западнее Двины. У них появится мода на позитивизм, пойдут изыски в области архитектуры, выдумают левоцентристскую оппозицию – мы тут как тут; у них только-только выйдут из печати «Три мушкетера», как у нас их уже зачитают до дыр; у них едва откроется движение феминисток, а русские бабы уже отказываются рожать. Недаром наше излюбленное национальное занятие состоит в том, чтобы на чем свет стоит костить собственное отечество, чего нигде в мире нет и не может быть.

Что же дальше? Чего следует ожидать, сгорая от любопытства и трепеща? Еще какое-то время народ продержится на аккумулярованной нравственности, наработанной нашими пращурами за тысячелетнюю историю Руси, а потом над страной нависнет если не общенациональная катастрофа, то государственная беда. Ведь у нас никогда не существовало традиционной системы воспитания, которая есть, например, у японцев, и всякий родитель старался, кто во что горазд, больше надеясь на то, что человек как-нибудь сложится сам собой. Между тем само собой ничего не делается, и стоило отпустить вожжи, как на первые роли немедленно выдвинулась всякая сволочь, частью даже из воря, установилась гегемония дурного вкуса, потому что демократия – это прежде всего господство непросвещенного большинства, этические нормы потеряли свою силу и стало можно почти все из того, что прежде было неаристократично, зазорно или нельзя.

Впрочем, считается, что поведение человека слишком зависит от внешних обстоятельств, и никаким воспитанием его не проймешь, если, положим, вокруг свирепствует голод или могут поставить к стенке за анекдот. Приведу пример из классики; вот Зощенко пишет: «Тут уж ничего не поделаешь: в хорошие времена люди хорошие, в плохие – плохие, в ужасные – ужасные». Это, конечно, вздор. На то поколения наших предков и выдумали этику белой расы, чтобы человек мог противостоять своему времени, всегда и повсюду более или менее враждебному его аномальному естеству.

Слава тебе, господи, романогерманцев еще кое-как спасает школа капиталистических отношений и гигиеничный протестантизм, а нам, бедолагам, что остается, хотя бы мы и охотно заимствовали чужие обычаи, праздники, понятия и слова? Это мы-то, подарившие миру неэвклидову геометрию, электрическое освещение, радио, телевидение, культ книги и самолет!

Не уважаем мы свою страну – вот в чем полбеда – свою страну и самих себя. Вторая половина беды такая: если у нас резали прохожих ни за понюх табаку, когда малыши еще воспитывались на сказках Пушкина, то что же это будет, когда заявит о себе поколение, воспитанное на телефонной книге и расписании поездов...»

Ну и так далее, вплоть до того момента, когда его голос покроет громоподобный аплодисмент.

Вообще люди живут скучно. То есть огромное большинство людей живет как бы скучно, по раз и навсегда заведенному образцу. Кое-кто, конечно, ухитряется в тюрьме отсидеть, побывать в заложниках, пять раз жениться, эмигрировать и репатриироваться, но главным образом наш брат существует так невыразительно, обыкновенно, что в хорошей компании ему бывает не о чем рассказать. Он, как правило, редко когда уезжает далеко-далеко,

а то и вовсе не покидает просторов какого-нибудь Головотяпского сельсовета Холуйского района Разудалой области; как женится на однокласснице, так и живет с ней до гробовой доски; весь земной срок работает путевым обходчиком и по десять лет носит одно пальто.

Хорошо это или плохо? – вроде бы хорошо. По крайней мере, представитель суетливого меньшинства, успевающий эмигрировать и репатрироваться, так и оставляет эту юдоль дурак дураком, а нашему брату ничто не мешает исполнить главное дело жизни, именно хорошенько обдумать себя в природе и природу внутри себя. Если это дело худо-бедно задается, то и умирать уже не так тошно, и жить значительно веселей.

Вот и Владимир Иванович Пирожков прожил сорок лет с лишним как-то незаметно, как растут дети, деревья и строительные леса. Он даже ни разу не ударился в загул, что иногда случается с русским человеком, особенно если он вдруг додумается до антагонизма между природой и личным «я». Вся его жизнь складывалась, в сущности, из таких неброских событий дня: утром завтрак, на который подавалась обыкновенно яичница с колбасой, поездка на работу в туго набитых вагонах метрополитена, собственно работа в научно-исследовательском институте синтетических материалов, обед в рабочей столовой на соседнем заводе металлоконструкций, опять работа, потом поездка домой и наконец ужин с женой под бутылку-другую пива и необязательный разговор. Например:

– Надо написать заявление в ЖЭК, – скажет Наталья Сергеевна, – насчет этих чертовых разводов на потолке.

– Вот ты и напиши, – ответится Владимир Иванович, задумчиво ковыряясь в своей тарелке, словно он рассчитывает найти в ней что-нибудь экстренное, вроде щипчиков для ногтей.

– Все я да я! А ты у меня на что?

– Да я бы написал, только боюсь, что у меня получится ерунда. Что-то меня последнее время постоянно заносит не туда – начинаю за здоровье, а кончаю за упокой. Позавчера, например, велели мне составить опись израсходованных реактивов, а я уперся в наречие «когда» и написал целую филологическую статью относительно корня «гда». Нет, это действительно очень интересно: что это было за реликтовое слово такое – «гда»? Ведь должно же оно было иметь какое-то самостоятельное значение, если из него вышли, в частности, наречия «когда», «тогда», «никогда», «всегда»?..

Как только с ужином бывает покончено, Наталья Сергеевна принимается за телевизор, а Владимир Иванович моет посуду и после усаживается за книгу, подперев голову кулаком. За окном уже темным-темно, где-то постреливают, звезд не видно (в Москве звезд вообще не видно), и только высоко висит половинка луны, как будто подернутая плесенью, а он держит в руках «Историю Французской революции» Тьера и то вперивается в текст, перебирая губами, то вдруг накукуется и молчит.

Единственно на пятьдесят первом году жизни Пирожков попал в одну нехорошую историю, и его существование на некоторое время окрасилось в мрачные, мучительно-увлекательные тона.

Как-то в начале зимы, когда Владимира Ивановича поставили замещать заведующего лабораторией, который на старости лет заболел коклюшем, ушлые люди подсунули ему на подпись два фальшивых счета и одну воровскую смету в двадцать семь миллионов рублей на тогдашний счет. Пирожков подписал бумаги не глядя, и вскоре дело приняло драматический оборот. А именно подлог был обнаружен в районной налоговой инспекции, завели уголовное дело, с Владимира Ивановича взяли подписку о невыезде, и следователь на первом допросе обрисовал ему такую убийственную перспективу, что бедняга серьезно занемог и даже дня с четыре лежал в бреду. Самое страшное было то, что, оказывается, в родной стране можно было запросто угодить в тюрьму, отнюдь не будучи закоренелым уголовником, а напротив, будучи распорядочным человеком, живущим в ладу с законом, которого по случаю оставили

в дураках. Эта аномалия представлялась ему нестерпимой, и он уже стал подумывать о том, как бы наложить на себя руки, но так, чтобы самоубийство осуществилось как можно безболезненнее, гигиеничнее и не вдруг.

Впрочем, с течением времени суицидальные мысли его отпустили, поскольку Владимир Иванович просто устал бояться, и он часами рассматривал потолок. То ему виделись здания причудливой архитектуры, то южные острова, а то рисовалась такая картина: узкое, полутемное помещение, двухъярусные металлические нары, голые мужики, сплошь татуированные и с нечеловеческими лицами и которые безостановочно дымят и режутся в карты, вонючее белье, развешенное под потолком, воздух такой спертый, что, того и гляди, сердце остановится, а он стоит посередине на табурете и держит речь:

«Соотечественники, братья, послушайте, что скажу... Когда Фрэнсиса Бэкона (не художника, а мыслителя и лорда-канцлера) посадили в тюрьму за взятки, он громогласно заявил: «Это не мое преступление, а преступление моего века». Мы пойдем дальше англичанина и выдвинем такую доктрину: вообще виноватых нет! Есть несчастные, умалишенные, кого черт попутал, а совсем виноватых нет. Тем более что главная причина всех наших несчастий таинственна и двояка: это или отсутствие души, или наличие души, которая все чего-то требует, мается и болит.

Вот, скажем, романогерманец, – этот знает, зачем ворует: затем, чтобы на украденные деньги открыть собственное дело и планомерно обирать несчастный пролетариат. А русский черт его знает из каких резонансов ворует; частью потому, что ему ужасно хочется выдвинуться из ряда обыкновенного, и он лучше полжизни за решеткой отсидит, чем тридцать лет будет разносить почту, частью затем, чтобы после выкинуть что-нибудь совсем уж нелепое, например, основать новую религию для банкиров и фабрикантов, в пику христианству, апеллирующему к беднякам, или купить остров в Карибском море, или подарить Скупщину, чтобы в его честь переименовали Белградский университет. Но вот он засядет на своем острове, посидит-посидит, подумает-подумает, и вдруг перед ним во весь рост встанет величайший из проклятых русских вопросов, а именно «ну и что?».

Это страшный вопрос, даже гибельный для человека, потому что он ставит под сомнение все и вся. У нас в России потому и обороноспособность низкая, и производительность труда, как в Гватемале, и воды горячей не бывает, что средневзятый Иванов в понедельник выдумает стул на воздушной подушке и даже во вторник начнет его сооружать в материале, но в среду вдруг запьет из-за этого самого «ну и что?».

Словом, душа – это, конечно, прекрасно, но она же – источник различных недоразумений и неудобств. В том-то все и дело, что нет в нас этой жизнеутверждающей туповатости, этой доли здорового идиотизма, которая сглаживает углы, размывает линию горизонта и не пускает мысль дальше ближайшего четверга. Ведь как подумаешь, например, какие омерзительные химические процессы охватят твое тело вскоре после кончины – твое обожаемое тело, мытое-перемытое, – так сразу волосы встанут дыбом, и подумаешь: к чему все? А романогерманец постоянно думает о налоге на недвижимость, во всяком случае о другом. Недаром наш народ пьет без меры, ибо водка – всепобеждающее снадобье от души.

Откуда она взялась в нас, эта самая душа – вопрос темный, то есть опять же предполагающий множество разных ответов взамен безусловного, одного. Может быть, это от бедности, вековечной и неисчерпаемой, как познание, потому что быть бедным в богатейшей стране мира – это вообще очень развивает, оттачивает мысль и сосредотачивает внимание на себе. Возможно, тут сказались наше географическое положение, то есть по преимуществу длинющие, томные зимние вечера, когда и не захочешь, а додумаешься до пересекающихся параллельных или неотзывчивости Христа. А то всему виной наша неполная занятость, располагающая к досужему релятивизму и витанию в облаках. Не исключено, что дело упи-

рается в неразрешимое противоречие между европейским образом мышления и азиатским способом бытия.

Как бы там ни было, душа испокон веков сбивала нас с истинного пути. От нее, собственно, и происходит наша расслабленная экономика, потому что какая уж тут капитализация и норма прибыли, если душе неуклонно требуется расстаться с телом, причем обязательно в ночь с четверга на пятницу и в Ницце, но сначала побить в тамошних ресторанах венецианские зеркала. От нее же, собственно, и наша неустойчивая обороноспособность, потому что у нас солдат редко когда мечтает стать генералом, а мечтает он о том, чтобы «землю в Гренаде крестьянам отдать» или от тоски по дому пропить свой автомат и форменное белье. Но главное, душа вечно мешает нам остановиться на чем-то простом и приемлемом, а все она рвется куда-то, задыхается и горит. Взять гражданина Минина, национального героя и спасителя отечества от польских оккупантов: казалось бы, живи себе в свое удовольствие, наслаждайся плодами победы и почетом от современников, а он вдруг что-то затосковал, спился с круга и умер в расцвете лет. Кстати заметить, мы так пострадали в историческом плане, как никто в мире не пострадал, между тем страдание – это то, чем душа наливается, как яблоко соками земными, и со временем обостряется, как хроническая болезнь...»

Ну и так далее, вплоть до того момента, когда его слова покроет жидкий аплодисмент.

Однако же уголовное дело по факту использования служебных полномочий в корыстных целях, как это у нас случается сплошь и рядом, вскоре развалилось само собой. Тут-то Владимир Иванович и почувствовал, может быть, впервые в жизни, что обыкновенная, неприключенческая жизнь, идущая, как часы идут, на самом деле заманчива и даже как-то особенно хороша. Утром за завтраком, наслаждаясь огненно-горячим кофе со сгущенным молоком, яйцом всмятку и бутербродом с жареной колбасой, он листал журнал «Огонек» и умильно думал о том, какие же все-таки молодцы работают в этом издании, умеющие и обывателю потрафить, и ублажить просвещенное меньшинство. В метро, по пути на работу, он смотрел в окно, исцарапанное матерными словами, или по сторонам и приходил к заключению, что только в Москве можно повстречать за один раз столько очаровательных женских лиц. На работе он ни о чем постороннем не думал, но в обеденный перерыв, в столовой завода металлоконструкций, ему приходило на мысль, что коли внимательно отнестись к самой простецкой еде, например, к борщу по-московски или свиной поджарке с гречневой кашей и свежим огурцом, то можно получить такое же эстетическое удовольствие, как если посмотреть содержательное кино. На обратном пути он опять размышлял об исключительных свойствах славянской красоты, а дома вступал с Натальей Сергеевной в такой, например, необязательный разговор:

– Если заселить Фрисландию выходцами из Тверской области, – говорил он, – то вскоре там начнутся перебои с электричеством и выйдет из строя водопровод. А если заселить Тверскую область выходцами из Фрисландии, то сразу туда повалит в эмиграцию полстраны. Спрашивается: почему? Скорее всего потому, что тверяки слишком огорчены строем и движениями своего внутреннего мира и решительно им наплевать на ухабистую мостовую и дырявый водопровод. А романогерманца ничто не отвлекает от созидательных трудов по благоустройству родной земли...

– Ну не знаю! – скажет ему жена. – Ты вот не смотришь телевизор, а там сейчас идет замечательный сериал. Это из жизни простых ирландцев, у которых какой-то червячок сожрал все картофельные поля. И что же ты думаешь: такие там бушуют страсти, такие развиваются душещипательные отношения, про какие слыхом не слыхивали твои преподобные тверяки! Вообще безумно интересно следить за ходом действия, как они там влюбляются и

воюют за идеал. Например, приходит домой фермер Дэвид Ортон, пожилой уже мужчина, а его жена занимается с батраком...

Пирожков:

– Сколько раз я тебе говорил, что смотреть телевизор так же неприлично, как, прости, мочиться в лифте, и так же вредно, как бить детей. Ты вот что прими в расчет: русский человек вообще чистоплотен, он регулярно бывает в бане, ходит в чистых рубашках и моет руки перед едой. Но посмотришь на его покосившиеся заборы, на захудалые города и неизбежно придешь к заключению, что русские свое тело любят, а свою страну – нет. Иначе они из кожи вон лезли бы, чтобы наладить пути сообщения или хотя бы выкрасить свои жилища в жизнеутверждающие цвета.

Наталья Сергеевна:

– Вот потому народ и смотрит телевизор, что кругом разруха, а по первому каналу показывают исключительно красоту. Возьми этих самых ирландцев из сериала: вроде бы отсталая страна, а Дэвид Ортон сроду жене слова черного не скажет, и пьет аккуратно, и одевается, как наши профессора. Он даже своего батрака-разлучника убил, как Онегин Ленского, а не то что при помощи дрына, как наше очумелое мужичье. Потом, это уже в 54-й серии, его жена безумно раскаялась, и они зажили по-прежнему, душа в душу. Сына отдали в какое-то религиозное училище, а дочь вышла замуж за фирмача...

Пирожков:

– Черт его знает, в чем тут причина, что мы так халатно относимся к внешним проявлениям бытия. Может быть, потому мы такие романтики, что в России каждый третий год бывает неурожай, или оттого, что у нас что ни правительство, то собрание сволочей. В этом смысле, кстати сказать, телевидение могло бы стать инструментом просвещения, проводником бытовой культуры в массы, поскольку ящик изо дня в день смотрят сто сорок миллионов идиотов и дураков.

Тут Владимир Иванович вдруг накукуется и его лицо примет мечтательное выражение: это он уже живо представлял себе, как завтра вечером появится на экране телевизионного приемника в светлом пиджаке и темном галстуке, проникновенно посмотрит в глаза невидимому собеседнику, сдвинет брови и заведет:

«Соотечественники, братья, послушайте, что скажу... Россия – это страшная, бестолковая, неухоженная страна, в которой живут самые красивые люди в мире. Не сказать, чтобы мы были физически красивы (это не считая наших прекрасных женщин), и даже скорее мы невзрачны на первый взгляд, а в том таится обаяние русского человека, что он заключает в себе сумму чудесных свойств. Это удивительно, но, отравленный азиатчиной и замученный государством, он, как правило, любовен, ориентирован на возвышенное, широк, открыт, жертвенен, незлопамятен, чувствителен, добродушен – словом, глубоко культурен по-человечески, даже если он сморкается двумя пальцами и носки меняет не каждый день.

В том-то и весь фокус, что в наши подъезды войти тошно, урны существуют для проформы, изящно одетого человека увидишь только во сне, а между тем русак, взятый как среднеарифметическое, представляет собой едва ли не высший подвид человека разумного, во всяком случае, он уникально культурное существо. В частности, это значит, что он, во-первых, чтит человека и все живое, знает, что такое честь, и в любой ситуации ведет себя как испанский гранд, что он широко образован, хотя и не глубоко, непрактичен в денежных делах до глупости, находит больше жизни в Лизе Калитиной, чем в жене, и может две ночи напролет толковать о переселении душ.

Правда, культурному русаку всего-навсего триста лет. Этот возраст следовало бы признать юношеским, если бы за три века мы не наворотили таких дел в области литературы, изящных искусств, государственного строительства, науки фундаментальной и прикладной, что прознай о наших достижениях романо-германский мир (который никогда особенно не

интересовался тем, что происходит восточнее Двины), он был бы неприятно ошеломлен. Наверное, дело в том, что мы слишком засиделись, закисло в осаде между татарами и Речью Посполитой, и когда дорвались при Петре Великом до светоча европейской цивилизации, то и развернули бурную работу в культурной сфере, панически наверстывая упущенное, и в результате выработали человека такой организации личности, о которой доселе не ведал романо-германский мир.

Конечно, этот тип личности можно провести и по кафедре психиатрии, хотя бы потому, что судьба персонажей у Достоевского ей отчасти интереснее, чем собственная судьба, и слово для нее в течение трехсот лет значило больше, чем дело, вера – больше, чем знание, иллюзия, – чем действительность, каковы естественные предпочтения впоследствии дорого обошлись. Потому что культурному русаку исстари не нравились имперские реалии, конституционная монархия, Победоносцев, а нравились бомбисты, интернационалисты и Лев Толстой.

И все-то у нас складывается вопреки и наоборот, например, романтические настроения способствуют упрочению диктатуры, а дикие условия родной жизни напрямую пестуют высокодуховное существо. Ведь русскому человеку ничего другого не оставалось, как только уйти в себя, сосредоточившись на возвышенном и идеальном, поскольку его обложили со всех сторон. С одного, так сказать, фланга, первобытный отечественный капитализм, стоящий на правиле «Не обманешь – не продашь», Микула Селянинович с деревянной сохой и грошовая цена человеческого труда. С другого фланга насаждалась православная церковь с ее удручающей нетерпимостью, постами, непросвещенным клиром, синодальностью и табу. Спереди напирала азиатская государственность, отправлявшая свои функции через взбалмошных Угрюм-Бурчевых, и во главе с деспотом древнеперсидского образца. А сзади не давала ходу беспросветная всенародная бедность, неприличная, по европейским меркам, еще в пору Крестьянских войн. Кабы у нас в России воблаговременно свершилась Великая буржуазная революция, на манер французской, то еще наши прадеды с головой ушли бы в акционирование и парламентские склоки, а так им пришлось довольствоваться домашним музицированием, чтением вслух «Записок охотника» и бесконечными словопрениями на тот счет, есть ли Бог, или кругом «одна химия», а Бога как раз и нет.

Вот почему Запад не нуждается в России, и она ему даже неинтересна: потому что мы закоесли было в правилах XIX-го столетия, потому что русская цивилизация – это прежде всего культура в таких ее проявлениях, как художественность, стиль человеческого общения, иерархия ценностей, адекватная замыслу Божию насчет человека как отдельного существа...»

Ну и так далее, вплоть до того момента, когда приспел пора вообразить себе реакцию невидимого собеседника, который, сидя у телевизионного приемника, наверное, только кашляет и вздохнет.

Евангельские слова «ни один волос с головы вашей не упадет без воли Божьей», полагаем, еще и так следует понимать, что Вседержитель опекает только те народы и гражданские сообщества, которые этого заслуживают, а все прочие оставляет на расправу естественному ходу вещей, то есть пускает это дело как бы на самотек. Вот, скажем, немцы: эти так опростились со времен Гегеля и Фейербаха, что уже не понимали простой выгоды и слишком зарвались в своих претензиях на мировое господство под руководством Адольфа Гитлера, последнего романтика в Европе, и за это Германия была временно стерта с лица земли. С другой стороны, монголы уже тысячу лет тихо-мирно сидят в своем дальневосточном углу и перебиваются с петельки на пуговку за то, что романтик Чингисхан обязался навязать Ясу всему подлунному миру, но зато теперь у них не бывает катаклизмов, успешно развивается скотоводство и помаленьку отстраивается столичный город Улан-Батор.

Что же до России, то, кажется, Недремлющее Око взяло нас на особый контроль с того самого времени, что Александр Радищев провозгласил непримиримую трехстороннюю вражду между баринном, земледельцем и батраком. В качестве противовеса стихии бессмысленного мятежа, Вседержитель было предложил нам небывалый расцвет художественной культуры и научно-технической мысли, но поскольку миром испокон веков правит глупость, наши деды манкировали этими несомненными благами и поставили-таки свой зловещий социальный эксперимент. За это самоуправство мы были отданы на растерзание естественному ходу вещей, и оказалось, что: истреблен наиболее разумный и самостоятельный элемент, составлявший корень нации; многомиллионные жертвы и неизмеримые страдания были напрасными, потому что закон естественного отбора отменить нельзя, а если и можно, то себе на погибель; Россия превратилась в заурядную восточноевропейскую страну, где большинство населения составляют дегранты и инвалиды с младых ногтей; на хозяйстве сидят тридцатилетние хищники, которые едва подозревают о существовании запятых. Словом, ничего не проходит бесследно в этом сомнительнейшем из миров.

Как дела складываются у народов и гражданских сообществ, точно так же бывает и у людей: если ты не безобразник и не зловредный идеалист, то уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий непременно рассосется само собой. И даже, может быть, тебе воздастся за доброкачественный нрав и обыкновенные положительные дела.

Вот и Владимир Иванович Пирожков в середине 80-х годов прошлого столетия получил от своего института шесть соток угодий по Казанской дороге, в районе станции «Отдых», в том месте, где заброшенная узкоколейка поворачивает на водонапорную каланчу. Пирожковы обнесли участок штакетником, самосильно построили домик, очень похожий на карточный, противоправно снабдив его буржуйкой на случай ранних холодов, разбили пару клумб под излюбленные российские гладиолусы, взбодрили пару грядок под разный овощ, посадили смородину, крыжовник, облепиху и зажили на своих сотках наездами с майских праздников по октябрь. Утренним делом они на ветерке пили чай с молоком и кушали бутерброды с овечьим сыром, потом до обеда копошились в земле и по хозяйству (Владимир Иванович вздумал устроить водопровод), после обедали, но не по-городскому, а долго и с чувством, и после опять работали чуть ли не дотемна. Когда на Казанское направление уже вовсю наваливались сумерки, Владимир Иванович с Натальей Сергеевной бок о бок устраивались на крылечке и молчали, думая о своем. Владимир Иванович иногда думал о том, о чем, казалось бы, могла думать его жена.

Прежде они никогда не ездили на электричках (ну, может быть, по молодости лет раз другой до станции Планерная покататься на лыжах), и теперь вдруг этот способ передвижения пришелся им по душе. Приятно было почувствовать, как поезд тронется, словно ни с того ни с сего, и плавно потянется вдоль перрона, приятно было увидеть в окне вагона приметы вроде бы иной цивилизации, а именно: пакгаузы, почерневшие от дождей, бетонные заборы, исписанные матерными лапидарностями, какие-то все сарайчики, сарайчики, дачные платформы, замусоренные сверх всякой меры, жидкие перелески, шлагбаумы, за которыми в другой раз обнаружится лошадь, запряженная в телегу на резиновом ходу, свежевспаханые поля, бараки железнодорожников с палисадниками в цвету. И до того эти милые картины убаюкивают душу, измученную урбанистической действительностью, что поневоле улыбнешься словно бы про себя, словно приятной мысли, невзначай пришедшей тебе на ум. Вдобавок ко всему, народ в вагоне едет пресимпатичный – дачники, особенный подвид русского европейца, который всю дорогу толкует о перипетиях борьбы с медведкой и принципиальной разнице между аммиачной селитрой и фосфорной кислотой.

Единственно Пирожкова раздражали в электричках многочисленные попрошайки, таскавшиеся из вагона в вагон и кланчившие милостыню под нелепые басни про спаленные жилища, гибельные болезни и похищенные паспорта. В таких случаях Владимир Иванович

прятал глаза, морщился, как от боли, и при этом думал о том, что можно значительно проще достучаться до такой благодарной аудитории, если развить перед ней какую-нибудь благородную социальную мысль, способную увлечь даже фанатика клубники и огурца. Минута-другая, и Пирожков уже видел внутренним зрением, как он заходит в вагон электрички, становится у дверей, держа на отлете фетровую шляпу с широкой траурной лентой, и заводит обычную свою речь:

«Соотечественники, братья, послушайте, что скажу... Мы, русские люди, было дело, настолько вознеслись над биологическим началом человека, настолько оторвались от прозы жизни и злобы дня, что, как несчастный Икар, неизбежно должны будем опалить крылья и рухнуть вниз. Иначе говоря, русская цивилизация с самого начала несла в себе этот ген гибели и забвения, потому что была слишком «не от мира сего», и еще во времена Герцена, предрекавшего вселенскую гегемонию мещанина, резко противопоставила себя курсу на акционирование и викторину для дураков. Действительно: мир нормальных людей развивался в направлении от Декарта к парикмахеру, а мы столетиями мечтали о той славной поре, когда в человеке все будет изящно – от побуждения до пенсне.

Спрашивается: можно ли этот апокалипсис как-то преодолеть? Можно, если, например, бросить эту дурацкую моду – жить по нашим зачумленным, отъявленным городам. Во-первых, в них дышать нечем; даже если не брать в расчет автомобильные выхлопы и ядовитые отходы промышленных производств, то все равно воздуху не хватает на такую прорву народа, которая у нас болтается в городах. Во-вторых, всякая людская скученность обязательно способствует повышенной агрессивности человека против человека, общества, инородцев, имущества и властей; оттого, кажется, в самой городской атмосфере витают страх и злоба, как неистребимые составные, как химические элементы, входящие в формулу хлеба, воздуха и воды. Наконец, третье и главное: в этой бессмысленной суете, в этой гонке за булкой с маслом, подогреваемой хамством и товарно-денежными отношениями, затруднительно привить подрастающему поколению основные культурные навыки, если только не призвать на действительную военную службу руководство радиотелевизионной корпорации, не изъять из оборота всю денежную массу, за пользование интернетом не давать внушительные сроки. Словом, нужно выводить нашу цивилизацию за городскую черту, разбираться по деревням, обзаводиться хозяйством, детьми, домашними библиотеками, музыкальными инструментами – тогда наступит органическое житье.

То-то и оно, что мы, русаки, всё народ деревенский и духом, и повадками, и пристрастиями, даром что существуем, главным образом, по нашим отравленным городам. Среди нас кто в первом поколении горожанин, кто в четвертом, кто деньги не считает, кто хлебные крошки смахивает в рот, а всё в нас бесконечно живо наше крестьянское начало, исконная благодать.

В этой руральности (или, скажу по-русски, – сельскости) российского населения как раз заключается одна из принципиальнейших черт нашей цивилизации: все мы на живую нитку городской пролетариат, все мы приходим от достославного Микулы Селяниновича и коровы Зорьки, плюс коняга Мишка и пес Дозор. Причем до наших деревенских предков на самом деле рукой подать (замечу только, что дочь Герцена дожила до водородной бомбы), и если по весне в вас открывается какое-то непонятное беспокойство, то это верный знак того, что по природе вы пахарь и середняк.

Спору нет: у наших предков вместо уборной была лопата, когда земледелец из романогерманцев по утрам читал газету и знать не знал этого обыкновения, чтобы по субботам смертным боем учить жену. Но зато мы с Владимира Святого закоренелые общественники, потому что наши Микулы Селяниновичи отродясь не знали частной собственности на землю, а владели ею общинно, можно сказать, – колхозом, когда до колхозов еще оставалась добрая тыща лет. С первыми жаворонками устраивали они общие собрания, решали голосо-

ванием, какой бригаде (тогда это называлось – выть) какой участок угодий обрабатывать – и вперед: сначала метали (первая вспашка), потом двоили, троили, ломали по корке от дождей, а потом ждали, прикидывая в уме, хватит ли хлебушка нового урожая хотя бы до Рождества.

Опять же все мало-мальски важные дела сельской коммуны неукоснительно подвергались суду общего собрания, хотя бы речь шла о спорной копне сена или притязаниях деда Михея на соседские плисовые штаны. Оттого нам интересно в каждый горшок плюнуть, оттого нас живо задевает все, что ни происходит за стеной, у соседа по лестничной площадке, в пограничном колхозе, на острове Шикотан.

Это бы еще ладно, если бы нас интриговали события, вершащиеся на острове Шикотан, все-таки своя территория, не чужая, – а то нас серьезно озадачивают балканские дела, студенческие волнения у французов, засуха в Австралии и железнодорожные непорядки у англичан. Именно из нашей стародавней общинности вытекает «всемирность» русского человека, открытая Достоевским, эта сердечная распахнутость навстречу равнодушию романогерманца, но, правда, зато культурный русак знает немецкую литературу, как немец знает свои гражданские обязанности и астрономию родинки у жены.

То есть немудрено, что личность, отягощенная такими наклонностями и безграничная в своей сути, не может ужиться в городе без того, чтобы не измельчать. Следовательно, ради спасения нашей русскости нам необходимо разобраться по деревням. Если у кого нет денег на переезд, то легко наладить сбор пожертвований среди пассажиров пригородных поездов...»

Ну и так далее, вплоть до того момента, когда кто-нибудь из попутчиков ему скажет:

– Да пошел ты!..

На что Владимиру Ивановичу только и останется, что пробурчать смиренно:

– Уже в пути.

– Чего это ты там бормочешь? – спросит его Наталья Сергеевна.

Пирожков отвечает:

– Уже в пути!

Слава тебе, господи, Владимир Иванович жив до сих пор, равно как и его супруга Наталья Сергеевна, несколько, впрочем, раздавленная вширь и как-то немного вкось. Владимир Иванович уже несколько лет на пенсии и совсем обносился, да Наталья Сергеевна торгует в киоске периодическими изданиями, а так у них все осталось по-прежнему: она смотрит по вечерам телевизор, он читает что ни попадя и временами подумывает о том, что вот, дескать, жизнь прожита, а нет у него за плечами ни особых достижений на ниве тонких химических технологий, ни капитала про черный день. И так Владимиру Ивановичу бывает тяжело в эти минуты горестных раздумий, что на него вдруг нападёт куриная слепота.

На самом деле настоящих причин для столь острых переживаний у него не было никаких. Вообще жизнь – такое нудное, однообразное занятие, что диву даешься: отчего мы так привязаны к этому процессу, очевидно бесцельному и не схваченному сюжетной осью, отчего нас так гнетет предчувствие вечной тьмы...

Между тем не исключено, что жизнь драгоценна только потому, и бесконечно жаль с ней распрощаться только по той причине, что, например, можно по утрам пить чай с горячей булкой или накукситься и мечтать.

Эта гипотеза представляется тем более вероятной, что все цивилизации мира возникли из одного источника и развивались по общему образцу. Просто-напросто много миллионов лет тому назад среди высших приматов, населявших землю наравне с лебедями и носорогами, народилась такая патологическая особь – задумчивая обезьяна, то есть прямой урод, который, вместо того чтобы драться со своими сородичами за фиговое дерево, бывало, сядет в сторонке и уйдет в себя, подперев голову кулаком. Так вот, если бы не это случайное откло-

нение от нормы, со временем развившееся в человека разумного, то не было бы ни «Сказания о Гильгамеше», ни римского права, ни Сервантеса, ни телефона, ни наших извечных дурацких вопросов, вроде «с какой стати?» и «почему?». Да ни почему! Потому что много миллионов лет тому назад среди высших приматов, населявших землю наравне с лебедями и носорогами... ну и так далее, – произошел непонятный сбой. Оттого наша земная цивилизация, включая ее русскую составную, так неуравновешенна, уязвима и, того и гляди, вырождается в эксплуатацию фигового дерева на паях.

Владимир Иванович давно это предчувствует, и его время от времени преследуют такие видения: то он говорит надгробную речь на собственных похоронах, а то вдруг перенесется в Древний Рим начала V века новой эры и наблюдает вступление в Вечный город диких воинов Алариха, раздетых в грубые кожи и невыделанные меха; Владимир Иванович сдержанно рыдает и обнимается с зеваками в белых тогах, носителями великой цивилизации, которые по-русски, что называется, ни бум-бум; а то бы он опять завел свое:

«Соотечественники, братья, послушайте, что скажу...»

Бухало и террор

Сергей Иванович Бухало был вятский уроженец, Орловского уезда, Селижаровской волости, деревни Малые Огольцы. (Были еще Большие Огольцы, но те на реке Великой, за Ризположенским монастырем.) Родился он в семье тамошнего урядника, по-нашему, участкового уполномоченного, Ивана Михайловича Бухало, из однодворцев, то есть из дворян, насквозь обедневших в незапамятные времена, поди еще при Иване II Красном, которые влачили существование вольных хлебопашцев, и только что их не тягали на конюшню за разные непоказанные дела. В семье Бухалов было трое детей: старший Аркадий, средняя Лидия и младший Сергей Ивановичи, каждый из которых со временем встал на свою линию и прожил жизнь настолько самобытно, разительно на свой лад, точно их произвели на свет разные матери и отцы. Аркадий вышел консерватором, служил по Провиантскому ведомству, выбился в полковники и, следовательно, был пожалован потомственным дворянством, но остался холостым и скоропостижно усоп уже при наших очумелых большевиках. Лидия стала умеренной суфражисткой, чуть ли не из первых вятских девушек поступила в Военно-медицинскую академию и до самой смерти работала в Обуховской больнице для бедноты. А Сергей Иванович с юных лет был заводила и «сицилист».¹ Таким образом, задача настоящего исследования состоит в том, чтобы по мере возможности закрыть каверзнейший из наших национальных вопросов – «откуда что берется?», а вернее, проследить этногенез такого зловредного подвига человека разумного, как российский идеалист.

В детские годы за Сергеем Ивановичем ничего особенно подозрительного не замечалось: он не вешал кошек, не грубил старшим и не обижал маленьких, не крал сластей из буфета черного дерева, который, впрочем, всегда бывал заперт на ключ, и вообще по сравнению со своими сверстниками был тихоня и пацифист. Разве что он отличался кое-какими странностями, например: он не знал того, что прежде называлось страхом Божьим, не ценил никакой собственности, включая свои игрушки, сызмальства предчувствовал судьбу необыкновенную и был до того, как-то уж и чересчур, жалостлив, что обливался слезами, когда матушка читала ему «Муму».

В начальном училище Сергей Иванович занимался без охоты, но зато в Вятской мужской гимназии учился так примерно, что кончил курс с похвальной грамотой, наградным томом «Сказок братьев Гримм» с золотым обрезом и стипендией от земства для поступления в Санкт-петербургский технологический институт. Тем более удивительно, что в этом учебном заведении он бывал редко, а в начале четвертого семестра и вовсе бросил туда ходить.

В те годы Сергей Иванович тесно сошелся с компаний пылких юношей, которые бредили конституцией, всеобщим начальным образованием, князем Кропоткиным, искоренением помещичьего землевладения, 8-часовым рабочим днем, романтикой бомбометательства и прочими радикализмами из тех, что, бывает, чаруют в ранней молодости и претят по достижении зрелых лет. Замечательно, что все это были симпатичные молодые люди, безупречной порядочности, добродушные, благовоспитанные до стеснительности, которые по мирному времени мухи не обидят, и поди ж ты – такие крайности невесть с какой стати захватили их положительно-алчущие умы... (Об отрицательно-алчущих умах пока разговора нет.)

Видимо, это вот с какой стати произошло: в ту самую пору, когда пробудилось наше национальное самосознание, может быть, еще при князе Ордине-Нащокине, пившем беспробудно всю Страстную неделю в связи с сомнениями насчет бессмертия души, русский

¹ Имеется в виду существительное «социалист», искаженное в просторечии наравне с «тальянкой» (итальянской гармоникой), «цигаркой» и «спинжаком».

человек свое государство крепко не любил. Спрашивается: откуда бы взяться этой стойкой антипатии, если наш отечественный этатизм представляет собой точный список с Иванова-Петрова-Сидорова и наоборот, ну разве что русский человек и сам себе противен, наравне с охальным ценообразованием и судопроизводством по шемякину образцу. Да и откуда было взяться этому нарциссизму, если у него, положим, огород частично взялся лебедой, супруга в сенцах валяется, избитая до полусмерти, а он тупо глядит на свой покосившийся плетень и мечтает о том, как бы подпустить барину «красного петуха». Хотя, по трезвому рассуждению, неизбежно приходишь к выводу, что русский человек всегда был лучше российского государства, поскольку он часом баловал своих домочадцев, часом над ними глумился, а государство жестоко измывалось над бедолагой из века в век.

Итак, сошелся Сергей Иванович с компанией сокурсников из революционистов, и сразу учеба в Технологическом институте у него пошла несколько стороной. То молодежь артельно протестовала против матрикулов², то затевался скандал с администрацией по поводу кассы взаимопомощи, то всем курсом требовали отставки профессора, который немного заикался, но по преимуществу компания проводила время на квартире студента Преображенского на Кабинетской улице и засиживалась там с обеденного часа и до утра. Они наперебой обсуждали покаянное письмо Бакунина или платформу социал-демократов, слушали рефераты о глицериновых взрывателях, разбирали сочинение Бокля «История цивилизации в Англии», самоварами пили чай с баранками и все твердили о том, что давно пора переключаться на практическую борьбу.

Сергей Иванович довольно долго выбирал свою тираноборческую стезю: в социал-демократической пропаганде среди фабричных рабочих ему виделось что-то совсем уж платоническое, анархизм был слишком литературен, толстовство даже комично, народничество себя окончательно изжило. В сущности, оставался один террор, в котором было нечто жертвенно-романтическое и сулящее европейское имя на вековечные времена. Правда, можно было вовсе сойти с тираноборческой стези и приналечь на учебу в технологическом институте, но он к ней положительно охладел.

Впрочем было время, когда Сергей Иванович вдруг увлекся теорией воздухоплавания и так прилежно занимался в чертежном классе, что месяца два не ходил в Кабинетскую улицу, и там его уже стали подзабывать. В результате его инженерных бдений явился проект гигантского аэроплана, который грузоподъемностью и дальностью полета намного превышал возможности знаменитого «Ильи Муромца», впоследствии построенного Сикорским для нужд российского военно-воздушного флота как дальний разведчик и бомбовоз.

Чертежи этого невиданного летательного аппарата долго пылились на антресолях в тубусе из черного дерматина; уже разогнали кружок технологов и Сергей Иванович даже отсидел полтора месяца в Доме предварительного заключения на Шпалерной, уже он с перепугу отошел от всякой политической деятельности и женился на барышне Кувшиновой из хорошего купеческого семейства, уже закончилась I-я русская революция и грянул экономический бум, уже по Невскому проспекту разъезжали громоздкие лакированные автомобили, распространявшие причудливую вонь, и телефонная связь стала обыденной, как чаепитие, уже число биржевых маклеров в Северной Пальмире превысило число фабричных рабочих, – а тубус все пылился на антресолях вместе со шляпными коробками и плетеными чемоданами, набитыми всякой всячиной про запас.

Какое-то затмение нашло на Сергея Ивановича: он и думать забыл о князе Кропоткине и 8-часовом рабочем дне, и его давно отпустило предчувствие судьбы необыкновенной, которой он бредил с младых ногтей. Теперь он кое-как перебивался в конторщиках Русско-азиатского банка, время от времени помышляя то о собственной бакалейной лавке, то

² Это что-то вроде наших зачетных книжек.

об экспедиции на Северный полюс, кушал по воскресеньям стерляжью уху с кулебякой о четырех углах и сатанел от капризов своей жены.

Так, по всей видимости, и текла бы жизнь недоучившегося студента-технолога Бухало, от Святой недели до именин, покуда партия социал-демократов (большевиков) не освободила бы его от гнета частного капитала, но тут случилось несчастье: Сергей Иванович заболел – он подцепил брюшной тиф, слег в тяжелом бреду и какое-то время его жизнь, как говорится, висела на волоске.

Он провалялся в постели четыре месяца и за это время от нечего делать прочитал всю демократическую беллетристику, которую в свое время не дочитал. Сначала он упивался «Антоном-Горемыкой» Григоровича, потом перешел к Глебу Успенскому, потом одолел всего Решетникова и Левитова, благо они из-за пристрастия к горячительным напиткам мало понаписали, и когда добрался до босяцких элегий Максима Горького, с ним произошел в своем роде переворот. То есть ничего кардинального, сокрушительного не случилось, но как-то болезненно совестно стало за кулебяку о четырех углах, в то время как многомиллионный русский народ, трудящийся в поте лица своего, коснеет в невежестве, перебивается с хлеба на квас и подвергается издевательствам со стороны властей предержавших, которые видят в нем лишь источник доходов и стратегический материал. Видимо, эта опасная болезнь плюс избыточное чтение сделали свое дело: в нем опять проснулось чувство судьбы необыкновенной и еще напала та мучительная мысль, что вот так можно ненароком и помереть, ничего не сделав для освобождения человечества от оков.

Если бы такой переворот случился с недоучившимся студентом Геттингенского университета, опустившимся до самого пошлого бюргерства, то из этой метаморфозы вышла бы целая психологическая школа, а у нас такие перевороты – дело обыкновенное, потому что если у русских и есть какая-то одна коренная, общенациональная черта, то это будет вот что: в основном совестливый и бестолково отзывчивый мы народ. На практике эти качества могут отзываться по-разному, в деяниях сообразных и несообразных, но преимущественно они настраивают на освобождение человечества от оков; между тем занятие это бессмысленное и обреченное, поскольку на самом деле речь идет об освобождении личности от самого себя и поскольку на него способны люди, больше не способные ни на что.

Когда Сергей Иванович поднялся с постели, даже еще не совсем окрепшим, так что временами его носило из стороны в сторону, он разыскал своего давнего приятеля Преображенского, по-прежнему жившего на Кабинетской улице, и попросил свести его с кем-нибудь из настоящих социалистов-революционеров, практикующих экспроприации и террор. Преображенский сам давно отошел от бранных дел, как это обычно случается с людьми пожившими, которые вывели для себя кое-какие закономерности и правила бытия, тем более что он не был по характеру ни вечным юношей, ни потенциальным уголовником, но однако согласился посодействовать Бухало из сочувствия идеалам, все-таки крепко въевшимся ему в кровь.

Через некоторое время Сергей Иванович получил по городской почте сообщение от Преображенского: де, нужный человек будет ждать его в такой-то день и в такой-то час в трактирчике «Бристоль» у Египетского моста. В назначенный день и час Сергей Иванович появился в полуподвальном заведении, насквозь провонявшем табаком и пивом, нашел среди посетителей человека в котелке с условленным траурным крепом, заправленным за ленту головного убора, и, подсев к нему за столик, изложил суть дела, нервно пощипывая моченый горох, который даром подавался к пиву в те далекие времена. Суть же дела была такова: поскольку движение очевидно зашло в тупик, – по крайней мере, после казни великого князя Сергея Александровича боевикам не удалось ни одно значительное покушение, – то он, Сергей Иванович Бухало, в прошлом народник-подпольщик, берется уходить августейшую семью в полном составе, за исключением великих княжон, бывших замужем за

немецкими принцами и живущих за рубежом. Причем успех предприятия он гарантирует на все 100 %, поскольку им изобретен воздухоплавательный аппарат такой полетной дальности, что он способен действовать хоть из Швеции, даже Англии, и такой грузоподъемности, что может нести одну тысячекилограммовую бомбу, которой с лихвой достанет, чтобы разнести Царскосельский дворец на фрагменты и кирпичи.

Хотя человек в котелке то и дело строил кислые рожи, все же видно было, что он планом Бухало увлечен. Они выпили по две кружки синебрюховского пива, доели горох и назначили свидание на конспиративной квартире, вернее, неподалеку от конспиративной квартиры, у церкви Измайловского полка.

На этой квартире, куда Сергей Иванович был доставлен со всеми предосторожностями конспирации, включая такие детскости, как непроницаемая повязка на глазах, он предстал перед целым сонмом таинственно-мрачных лиц.

Комната была затемнена портьерами, только на ломберном столе в углу горела большая бронзовая лампа под зеленым абажуром, и оттого физиономии присутствовавших отдавали в покойницкие тона. Сергей Иванович вдругорядь доложил о сверхъестественных возможностях своего летательного аппарата, оговорив три условия, которые гарантировали успех: во-первых, массовую казнь Романовых следовало назначить на Николу весеннего, именно 9-е мая, день императорских именин, когда в Царскосельском дворце соберется все августейшее семейство во главе с виновником торжества; второе условие было сугубо материального характера – на постройку аэроплана и разные косвенные расходы требовалась сумма в десять тысяч рублей; в-третьих, строить аппарат нужно было непременно за границей, где не может встретиться никаких технических преткновений и нет охраны, которая всюду сует свой нос.

Собрание выслушало Сергея Ивановича в молчании, которое у нас называется гробовым. Некто Зажигалкин, ассистент самого профессора Жуковского, долго изучал бухаловы чертежи и в конце концов, удовлетворенный, вернулся на свое место у ломберного стола. Какой-то господин с толстомясой, жуткой физиономией подошел к Сергею Ивановичу и нарочито пристально посмотрел ему в глаза, точно давая понять, что ему ничего не стоит моментально отличить проходимца от прогрессиста, и сразу же вышел вон. Фабриканты Доении, Гавронин и Цейтлин ансамблем пошевелили пальцами, как бы ощупывая купюры на подлинность происхождения, то есть намекая на то, что сумма, названная изобретателем, несколько сомнительна, но тем не менее они готовы что-то в этом роде ассигновать. (Уж больно заманчивым, при всей фантастичности, им показался план.)

Сергей Иванович потом долго думал: этим-то чем не угодило российское самовластье, и в частности августейшая семья, им-то какого еще рожна не доставало, наживавшим по полмиллиона целковых в год, начинавшим день у Панкина и коротающим ночи в шалманах на островах?! Разве что Доении был, предположительно, страстным поклонником Лас-саля, Гавронин, возможно, происходил из крестьян Нижегородской губернии, а Цейтлин, не исключено, ненавидел Россию всесторонне, в частности за черту оседлости, университетскую квоту, дядю по материнской линии, обезглавленного во время кишиневского погрома, и многочисленные фонетические сложности русского языка. Разве что всех троих замучило предчувствие судьбы необыкновенной и им скучно было просто-напросто наживать свои целковые и спускать.

Долго ли, коротко ли (во всяком случае, Сергей Иванович уже успел разъехаться со своей женой), тот же человек в котелке с крепом назначил ему встречу у Египетского моста. За пивом с горохом он передал Бухало десять тысяч рублей наличными, железнодорожный билет до Мюнхена и заграничный паспорт на имя инженера Потоцкого Федора Ильича.

Сергей Иванович попрощался с отечеством оригинальным образом: он подцепил на Невском проститутку и провел с ней ночь в меблированных комнатах на Песках. Девка ему

попалась какая-то ненормальная: то она ни с того ни с сего принималась плакать, то в самую неподходящую минуту начинала рассказывать о том, как она мечтает поселиться в деревне, учить крестьянских детей грамоте, но главное, наладить такой богатый огород, чтобы в голодный год можно было прокормить все общество земляной грушей (она же топинамбур), которая, по авторитетным отзывам, оказывается, чудо как питательна и вкусна.

Мюнхен Сергею Ивановичу не понравился; прежде он никогда не бывал за границей, и тем острее его удивило какое-то странное чувство отсутствия жизни, которое возбуждали и физиономии прохожих, и стерильная чистота улиц, где даже кошки нельзя было увидеть, и миниатюрные цветники на окнах, выглядевшие искусственными, точно выполненными из вощеной бумаги, и немецкие пивные, из которых всегда доносилось глупое пение и неестественно, натянуто веселые голоса.

Как раз в небольшой, уютной пивнушке у старого рынка Сергей Иванович невзначай познакомился со здешним инженером по имени Вальтер Розенфельд и сразу проникся к нему симпатией, отчасти потому что фамилия у него была свойская, местечковая, а отчасти потому что лицо его бороздили глубокие шрамы, точно у варяга времен Киевской Руси или у какого-нибудь ушкуйника-волгаря. Сергей Иванович поинтересовался происхождением этих отметин, с чего, собственно, их знакомство и началось; немец удивился вопросу, нахмурился, но ответил, что у них весь Геттингенский университет щеголяет в подобном виде, ибо у студентов в традиции поединки на шпагах между сторонниками разных корпораций, которые потому приветствуются нацией, что так из молодежи до срока выходит дурь.

Слово за слово, они с Розенфельдом разговорились о студенческой юности, об инженерном деле, наконец о воздухоплавании, и тут Сергей Иванович поведал новому знакомцу о проекте летательного аппарата, который не выдумает даже ухищренная немецкая голова. Розенфельд заявил сомнение насчет исключительности русской инженерной мысли, на что Бухало возразил ему целым рядом примеров из практики изобретательства в мире и на Руси: де, паровой двигатель изобрел русак Черепанов, а честь открытия зловерные европейцы приписали англичанину Уатту, радио изобрел Попов, а запатентовал его итальянец Маркони, первым поднялся в небо на аппарате тяжелее воздуха русский моряк Можайский, а на весь мир прославились какие-то братья Райт...

Так они препирались до самого вечера, натузились пивом и съели по три порции вайсвурга с кислой капустой, но в конце концов закончилась эта конференция все же в пользу русской инженерной мысли, то есть Розенфельд вызвался помочь Сергею Ивановичу в постройке его фантастического бомбовоза, может быть, лелея какой-то свой, немецкий, предосудительный интерес.

Но нет: Розенфельд на чистом глазу споспешествовал делу своего русского товарища, и, пожалуй, без него затея вряд ли бы удалась. Он устроил Бухало на курсы воздухоплавания, свозил его в городок Моссах под Мюнхеном, помог арендовать гигантский ангар из кровельного железа, нанял бригаду отлично обученных рабочих, а потом вместе с ним закупал: два французских мотора «Антуанетт», каждый в пятьсот лошадиных сил, металл для каркаса, брезент для обшивки плоскостей самого лучшего немецкого качества, два кубометра дубовой доски для ланжеронов и про запас, стальной трос для тяг и еще много разного материала, включая крокодилову кожу неведомо для чего. (После Сергей Иванович предложил Розенфельду пятьсот марок за комиссию – тот нисколько не обиделся, но не взял; видимо, он все-таки лелеял какой-то свой, немецкий, предосудительный интерес.)

Баварцы работали примерно, но как-то уж очень не торопясь. На каркас фюзеляжа ушло три месяца, да еще обшивали его дюймовой фанерой недели три, с плоскостями и оперением провозились чуть не полгода, а тут еще фанера сербского производства стала слоиться от лака и ее пришлось полностью заменять. Между тем из Петербурга торопили, из Петербурга сообщали, что террористический акт как раз назначен на Николу весеннего и

нужно, хоть тресни, поспеть к этому сроку, иначе товарищ Евно нарочно приедет в Мюнхен и разорвет изобретателя на куски.

Наконец настал день, когда аэроплан Бухало стоял в ангаре готовый к испытательному полету; он был громаден, как доисторическое животное, нелепо-прекрасен, как наваждение, вонял лаком, бензином и почему-то коровяком. Загрузили в люк тонну стальных болванок, Сергей Иванович поднялся в кабину своего аппарата, запустил двигатели и дал газ: машина стояла точно вкопанная, мелко трясясь и воя, как паровоз. Он дал полный газ: оба мотора «Антуанетт» согласно заглохли и из них повалил черный прогорклый дым.

Было очевидно, что в расчеты закралась какая-то роковая ошибка, и медленно, словно нехотя, вылезая из кабины аэроплана, Сергей Иванович думал с том, что в свое время нужно было по-настоящему учиться в технологическом институте, вместо того чтобы бегать по студенческим кружкам, бредить князем Кропоткиным, 8-часовым рабочим днем и вообще мыслить в ключе тургеневского «Муму».

Вечером он сидел в пивнушке у старого рынка и пил стакан за стаканом противную французскую анисовую водку за отсутствием водки как таковой. Денег у него оставалось ровно пятьдесят рублей на русский счет, он пропил их за четыре дня, два дня проболел в гостинице и исчез.

Больше о нем ничего не было слышно, и никто его не видал. Может быть, он потом допился, что умер от переохлаждения организма где-нибудь под забором, может быть, бежал в Италию и заделался чичероне для русских туристов, но вообще если наш соотечественник вдруг исчезает, то это бывает, как правило, темно, трагично и навсегда.

Бухалов самолет все так и стоял в ангаре на окраине Моссаха под Мюнхеном, и простоял там аж до лета 1946 года, когда американцы вывезли этот уникум за океан и поместили его в Чикагском музее авиации в качестве диковинки самолетостроения, а в 1993-м году почему-то пустили его на слом.

За это время, как говорится, много воды утекло: отлично сошли именины государя Николая Александровича в Царскосельском дворце, – царь танцевал с баронессой Фридерикс, царица Александра Федоровна грустила, а наследник Алексей пускал хлебными катышами в сестер; семь тысяч террористов было повешено и бесчисленно радикалов разного направления распределили по тюрьмам да глухим селениям, где новь стоит полгода и снег выпадает в преддверии сентября; совершилась социалистическая революция и прокатилась по стране гражданская война между сторонниками и противниками Учредительного собрания, которая унесла до трех миллионов жизней, когда и одной-то безмерно жаль; упразднили частную собственность, хорошие манеры, свободный выезд за границу, вольнодумие и благотворительные вечера; зато завели прописку по месту жительства, пайки, бесплатное медицинское обслуживание и пионерскую организацию для детей, бесчисленно террористов и радикалов разного направления пошли под расстрел и туда, куда Макар телят не гонял; опять произошла в России революция, только наоборот, то есть в стране возродили частную собственность, хорошие манеры, свободный выезд за границу, вольнодумие и благотворительные вечера, при этом упразднив прописку по месту жительства, пайки, бесплатное медицинское обслуживание и пионерскую организацию для детей.

Даром что нынче у нас господствуют отрицательно алчущие умы, все почему-то кажется, что в недрах нашего народа вот-вот народится поколение мечтателей насчет освобождения человечества от оков. Это предчувствие могло бы показаться неосновательным, кабы не такое многозначительное обстоятельство: этногенез русского идеалиста так же гадален, как происхождение человека вообще, а на каверзнейший из наших национальных вопросов «откуда что берется» – и вовсе ответа нет.

Догадки

Смерть героя

Кузьма Минаевич крепко пил. Лет примерно до сорока он даже вкуса не знал хмельного, но в тот день, когда князя Дмитрия выдали головой изменнику Борьке Салтыкову и настоялся князь на коленях у бывшего тушинца, аккуратно между черным крыльцом и санным сараем, в тот самый день Кузьма Минаевич от огорчения и согрешил. Пришел он домой в первом часу пополудни, сел за стол, прослезился, сказал жене Татьяне... это, разумеется, нашим языком говоря: «За что боролись?!» – и велел подать зелена вина. Вроде бы и невелик грех, особенно когда он обходится без последствий, если бы не пришлось тот день на Филиппки, первую неделю Рождественского поста. А чтобы православный дул горькую в непоказанное время, это надо его донельзя огорчить.

С тех пор он редкий день когда не был пьян, что, в общем, неудивительно, поскольку в крови у людей Севера не хватает того фермента, который защищает людей умеренного климата от пьяного окаянства, и уж коли русский человек запьет, то это надолго, если не навсегда.

По этой причине Кузьме Минаевичу не доверяли серьезных дел, справедливо полагая, что особа нетрезвого образа жизни никакого дела не доведет до логического конца. Только этой же зимой в Казани произошел бунт, и Кузьму Минаевича, против всякого ожидания, послали к татарам расследовать причины казанского мятежа. По прибытии на место Кузьма Минаевич два дня отпаивался капустным рассолом и мятным квасом, а на третий день приступил к дознанию, хотя еще не полностью отошел.

По розыску оказалось, что главным виновником происшествия был дворянин Савва Аристов, казначей при казанском воеводе, который обобрал здешних обывателей до штанов. Так, он прикарманил суммы, отпущенные Москвой на прокорм стрельцов, и ссудил их симбирским купцам под большой процент, самосильно обложил данью черемисов и чувашей, вымогал подношения у татарских мурз солью и кирпичом. (Кирпичом в частности потому, что он затеял посреди Казани строительство собственного дворца.) Одним словом, Савва Аристов довел дело до того, что против его притеснений выступил целый край.

Кузьма Минаевич велел взять вора и доставить его в подвал Ахметовой башни, где был устроен застенок по московскому образцу.

Под сводами серого камня стоял стол, покрытый зеленым сукном, на столе – два чугунных подсвечника со свечами, чугунная же чернильница и глиняный стакан с перьями для письма. Напротив стола, в значительном отдалении, тлели в жаровне угли, добавлявшие ярко-оранжевую тональность к темно-апельсиновому освещению от свечей, а между столом и жаровней висел на дыбе вор Савва Аристов и хрипел. Он так низко поник головой, что волосы скрадывали верхнюю часть лица, но почему-то казалось, что глаза его горят и это от них, а не от свечей и жаровни исходит потусторонний, ужасный свет.

– А скажи, вор, – спрашивал его Кузьма Минаевич, – сколько подвод кирпича поставил тебе мурза Чигирей и почему обошелся тебе кирпич?

Подьячий Сукин³ было занес перо над бумагой, но вор молчал. С минуту было слышно только его лихорадочное дыхание и поскрипывание блока под потолком.

³ Потомок его был комендантом Петропавловской крепости во время восстания декабристов и, по отзывам наших страдальцев, показал себя с положительной стороны.

По доносу посадского Ивана Огурца, отправил ты, вор, в Литву верного человека, а с ним пятьсот рублей денег медью и серебром. Отвечай: зачем?

Савва Аристов откинул в сторону волосы, искоса посмотрел на говорившего, но смолчал.

– Я тебя пока человечно спрашиваю, это имей в виду. То, что ты, вор, на дыбе висишь, еще считается ничего...

Савва вдругорядь поднял голову и сказал:

– Как ты смеешь, мясник⁴, ко мне, природному дворянину, с вопросами приставать!

– Ну не сволочь! – возмутился подьячий Сукин. – Проворовался, можно сказать, насквозь, уж к пытке назначен, а все спесивится и рычит!..

– Страшный народ! – согласился Кузьма Минаевич и замотал головой, точно отгоняя от себя мысль.

Впрочем, Савва Аристов больше ни слова не проронил, даром что был бит кнутом, держан над углями и в заключение выщипали ему по волоску половину его окладистой бороды.

Вечером того же дня Кузьма Минаевич снова запил. Уж Аристова отправили на вечное заточение в Кирилло-Белозерский монастырь и миновал он Нижний речным путем, а Кузьма Минаевич все никак не мог отстать от зелена вина и с утра до ночи глушил тоску. Сукин ему говорил:

– Кузьма Минаевич, друг любезный, возьми ты себя в руки, ведь до того ты допился, что смотреть на тебя нельзя!

– Ты мне лучше скажи, подьячий: за что боролся?! – отзывался тот, и в голосе его сквозила отравленная слеза.

Подьячий Сукин все Смутное время просидел в Кракове, при низложенном царе Василии Шуйском, и кто за что боролся сказать не мог.

Наконец отправились восвояси. Кое-как отпилился Кузьма Минаевич капустным рассолом и мятным квасом, заложили ему возок, снабдили провизией на дорогу, и тронулись они с подьячим Сукиным в обратный путь, держа направление на Москву.

Зима была на исходе, снег синел и ноздрился, там и сям стаи ворон чернели вдоль унавоженной колеи, ботало, подвешенное к дуге вместо колокольчика, издавало жестяной, неприятный звук, лес по сторонам дороги стоял стеной, мрачный, многозначительный, как будто он что-то имел сказать. Дорога, несмотря на зимнюю пору, была тряская, и Кузьма Минаевич то и дело говорил себе внутренним голосом: «Куда только смотрит Ямской приказ!»

За Юрьевом-Польским, едва пропала из виду золотая маковка Георгиевского собора, возок остановила компания подвыпивших мужиков.

– Никак разбойнички... – сказал Кузьма Минаевич, но без чувства, как о погоде говорят, поскольку он разные виды видел и боялся только свою жену.

Между тем мужики уже выпрягли лошадей, а один из них распахнул дверь возка и диким голосом закричал:

– А ну, бояре, скидай порты!⁵

– Вы что, очумели, собачьи дети! – возразил Сукин. – Вы кого грабите? Это же Кузьма Минаевич едет, народный герой и благодетель родной земли!..

Мужик призадумался и сказал:

– Что-то про такого мы не слыхали. Много у нас на Руси героев развелось, в кого пальцем ни ткни – герой. Так что, бояре, скидай порты.

⁴ Кузьма Минаевич прежде держал мясную лавку в Нижнем Новгороде и преуспевающий был купец.

⁵ Вообще – одежда на старорусском; слово, вероятно ведущее свое происхождение от латинского глагола «носить». Интересно, что по причине всемирности русского человека, открытой Федором Достоевским, даже самые, кажется, природные наши слова, вроде «денег» или «собаки», на поверку оказываются приемными из соседственных языков.

В итоге до нитки обобрали путешественников юрьевские мужики, единственно не тронув государственные бумаги, в которых они видели мало проку, поскольку тогда еще не было моды на курение табаку. Пришлось бросить возок и пешком добираться до ближайшего жилья в одном исподнем и босиком.

Хотя и мороз был невелик, и до ближайшего жилья, промышленного села Радость, оказалось всего полторы версты, Кузьма Минаевич простудился, – просто-напросто его организм, ослабленный регулярными возлияниями, не сдюжил и отступил. Видя, что дело худо, даже трезвенник Сукин вынужден был согласиться с тем, что при такой крайности следует опрокинуть стакан-другой.

Так они и уселись за стол, в исподнем и босиком, в царевом кабаке, который стоял несколько на отшибе, сразу за поскотиной, обозначавшей предел села. Впрочем, кроме самого целовальника, этой картине было некому подивиться, ибо адмиральский час еще не наступил и кабак был пуст. Подъячий Сукин вытащил из подштанников золотой дирхем, бог знает в котором месте припрятанный от разбойников, и через минуту на столе уже стояло блюдо говяжьего студня, дымящийся хлебец и штоф зелена вина. Кузьма Минаевич налил себе оловянный стаканчик всклянь, разом выпил и немедленно захмелел.

– Теперь говори, подъячий, за что боролись... – продолжил он давешний разговор.

Сукин ничего не сказал в ответ.

– И чего я затеял всю эту историю – не пойму! Ну сел бы на Московском государстве королевич Владислав со своею шляхтою, ну и что?.. Пускай он не нашей веры, но зато завелся бы на Руси порядок, науки разные, политес...

– Какие еще науки? – возразил Сукин. – Все, что нужно знать человеку для спасения души, есть в Писании, в нашей греко-русской вере. И не нужно нам никаких наук! Даром что мы уроды, зато у нас есть сокровище православия, которого нет больше ни у кого! И слова-то все какие: «...в месте злочно, месте покойно, идеже несть ни плача, ни воздыхания...» – изумруды, а не слова...⁶

– Это точно, что мы уроды, потому что родные дураки нам милее умников чужого корня, со стороны... Жигимонт-то уж на что мудрец, а наш Миша Романов – пень.

– Какой он ни будь, а все же природный, свой. Как говорится, «не по хорошему мил, а по милу хорош». Вот за это, наверное, и боролись, других резонов не нахожу.

Кузьма Минаевич заметил:

– Или вот, скажем, за что боролись господа либеральные писатели? А за то, чтобы тиражи «толстых» журналов упали с миллионных практически до нуля, чтобы народ вообще перестал читать!..

(Виноват, нечаянно выпал из эпохи, перескочил. Видимо, таков уж характер революции сознания, что, исследуя этот процесс, обязательно завернешь куда-нибудь не туда.)

Вечером уже подъячий Сукин на двоих с целовальником отнесли Кузьму Минаевича в избу сельского старосты, водрузили на полати и накрыли поношенным кожушком.

Под утро герой скончался. В самую смертную минуту ему явился строгий лик Ильи-пророка, и он под конец подумал, как еще ему отзовутся в посмертной жизни его героические дела.

Это случилось ровно за двести два года до того, как на Красной площади Кузьме Минаевичу и князю Дмитрию поставили странный памятник, который первоначально точно нарочно повернули спиной к Торговым рядам, ныне Государственному универсальному магазину, как бы в ознаменование того, что русскому человеку материальное нипочем.

⁶ То-то и оно. Пусть у них Паскаль об эту пору выдумывает кибернетику и дифференциальное исчисление, Фрэнсис Бэкон – эмпирический материализм, зато у нас изумруды, а не слова. Недаром Иван Павлов писал, что-де русский человек, устроенный весьма причудливо, не столько реагирует на объективную действительность, сколько он реагирует на слова.

Последняя жертва

Нет на Москве места более ужасного, чем Лубянская внутренняя тюрьма. Понятное дело, всякое узилище внушает так называемый тихий ужас, но Лубянка страшнее всех прочих тем, что совсем рядом совершается веселая московская жизнь, вечно праздничная в промежутке от Старой площади до Кремля. Видеть ее не видно, а слышать слышно, как, живучи в коммунальной квартире, слышно чужой будильник или супружеское бдение за стеной. Доносится оживленная переключка автомобилей, трамвай тренькает и скрипит, сворачивая с бывшей Мясницкой на Театральный проезд, а то явственно слышится шарканье тысяч ног и дикие голоса. Один раз до Николая Ивановича долетело пение тромбона и барабанная дробь – видимо, пионерский отряд проследовал мимо Лубянки, потом свернул на Пушечную улицу и затих. Это действительно был пионерский отряд при пуговичной фабрике имени Бакунина, в котором заместо горна использовался тромбон.

За день до последнего судебного заседания, во время прогулки на крыше тюрьмы, Николай Иванович как ни вслушивался, так ничего и не услышал, словно Москва вдруг вымерла или у него заложило слух. Только аэроплан полз по блекло-голубому мартовскому небу, беззвучно, как таракан, да где-то поблизости хлопали крыльями сизари.

Спустившись к себе в камеру, Николай Иванович сел за стол, пододвинул бумагу, обмакнул перо в чернильницу и призадумался, глядя на мутную лампочку, забранную снизу решетчатым колпаком. Нужно было дописать последнее слово подсудимого, и он обдумывал, как и что. Однако в голову неотвязно лезли мысли посторонние, например: Сталин, конечно, крут. Но ведь Троцкий-то – монстр, людоед, каких мало, и возьми он верх, то революция давно погибла бы, захлебнувшись в своей крови. Следовательно, вместо того чтобы разводить внутрипартийные склоки, нужно было всемерно поддерживать Сталина, поскольку третьего не дано. Хорошо еще, что остается возможность принести последнюю, искупительную жертву на алтарь свободы и коммунистического труда...

Николай Иванович отложил перо, тяжело вздохнул и подумал: впрочем, если бы не эти двухъярусные нары, как будто нарочно выкрашенные больничной краской, не бетонный пол, от которого веет склепом, не грязно-зеленые стены, точно надвигающиеся на тебя, да не мучительные звуки, долетающие извне во время прогулок, то, видимо, вряд ли возникло бы то отчасти даже сладострастное чувство поработанности ума и воли, что со временем обухало его всего. Заскрежетал ключ в двери камеры, и контролер впустил к Николаю Ивановичу престранного человека по фамилии Смирнов, которая вовсе к нему не шла. То есть, скорее всего, это был никакой не Смирнов, ибо в лице его угадывалось что-то положительно левантйское, но когда три месяца назад он впервые появился в камере, то представился как Смирнов. На нем был пыльник из чесучи, серая фетровая шляпа, сдвинутая несколько на затылок, диагональные брюки и хромовые командирские сапоги. Три месяца тому назад Смирнов предстал перед Николаем Ивановичем точно в таком же виде. Он сразу как-то по-домашнему расположился в камере, именно бросил шляпу на нары, расстегнул свой пыльник, под которым оказалась шитая малороссийская рубаха с тесемками, внимательно посмотрел в глаза Николаю Ивановичу и сказал:

– Ну что, будем разоружаться перед победившими пролетариями или как?

Николай Иванович в ответ:

– С кем, как говорится, имею честь?

– Смирнов моя фамилия.

– Какой Смирнов?

– Никакой. Просто Смирнов, и все. Итак, будем разоружаться перед победившими пролетариями или как?

– Боюсь, мне нечего добавить к тому, что я уже говорил на допросах у граждан следователей Васильева, Будкера и Шпака.

Смирнов вздохнул и тяжело уселся на табурет:

– Про то, что вы им говорили, наплевать и забыть. Настоящий разговор начинается сей момент. Ну так вот: я уполномочен вести с вами переговоры от имени высшего руководства партии и страны.

С этими словами Смирнов сделал занятный жест, юношеский, задорный и победительный, именно он щелкнул пальцами и как бы резко отшвырнул от себя щелчок. Николай Иванович был заинтригован; он гораздо больше был заинтригован этим занятным жестом, который ему что-то из далекого-далекого прошлого навевал, нежели тем, что с ним желает вступить в переговоры высшее руководство партии и страны. Где-то когда-то он уже имел случай наблюдать этот занятный жест, но где и когда, он не мог припомнить, разве что с ним точно был связан аромат цветущей акации и тот знойкий дух, который исходит от раскаленного известняка.

Николай Иванович справился:

– Так о чем мы будем переговоры вести, гражданин Смирнов?

– Оставьте вы этого «гражданина», мы с вами товарищи. Или нет?

– Уж и не знаю, что вам сказать, – проговорил Николай Иванович, печально сощурился свои маленькие глаза. – Там видно будет, «товарищ» или все-таки «гражданин».

– Как на ладони будет видно, не извольте беспокоиться...

– Так о чем?

– О том, чтобы в решительный момент поддержать дело трудящихся всей земли. О том, готовы вы или не готовы пожертвовать многим, можно сказать, всем ради победы коммунизма в мировом масштабе и навсегда?!

От этого Смирнова исходило такое непобедимое обаяние, что, слушая его, хотелось по-детски поддакивать и кивать. Было нечто в тембре его голоса, движениях, выражении глаз, настраивающее на смирение и альянс.

– Я вам сразу скажу: готов! – ответил Николай Иванович. – Только для этого и живу.

– Вот и хорошо. Мне, собственно, велено передать мнение, что непосредственно от вас зависит, восторжествует ли дело мирового пролетариата или народы будут по-прежнему нести на себе капиталистическое ярмо. Именно от вас, и больше ни от кого!

– Интересно: почему же именно от меня?

– Потому, Николай Иванович, что огромен ваш авторитет в международном коммунистическом движении...

– Тогда непонятно, с какой стати я здесь сижу...

– Да оттого-то вы и сидите, что на вашу долю выпала миссия исторического масштаба: спасти дело пролетариата в центре и на местах! Ведь вы, Николай Иванович, блаженный, вам невдомек, что текущий момент требует мер исключительных, дерзновенных, которые только и могут обеспечить выход из тупика! Не мне вам рассказывать, что практика нашего строительства показала: военный коммунизм – дело дохлое, новая экономическая политика прямо ведет нас к реставрации капитализма, социалистический способ производства предельно неэффективен – так где же выход из тупика?..

– Где? – машинально спросил Николай Иванович и сам подивился своему девственному вопросу, как, бывает, вполне культурный человек сделает какую-нибудь мелкую гадость и после удивляется на себя.

– Вот вы в свое время выдвинули лозунг: «Обогащайтесь», – имея в виду, что из процветания индивидуума логически вытекает процветание всей страны. Но ведь богатый и самостоятельный индивидуум – это политическая сила, которая рано или поздно возродит ползучую демократию, а таковая для пролетарского дела – смерть! Не так ли?..

Николай Иванович подумал, что в противовес этой тезе следует выдвинуть сильную антитезу, тем не менее он просто ответил:

– Так.

– Именно поэтому партия сейчас стоит на обратной платформе: процветание индивидуума сможет обеспечить только процветание всей страны. Но ведь двадцать лет борьбы показали: с наскаку ничего не сделаешь, строительство коммунистического общества подразумевает долгие и долгие годы самоотверженного труда. И обратите внимание: это в условиях неслыханных лишений, поголовной бедности и нехватки в государстве всего, от керосина до букваря... Значит, прежде всего нужно было найти такой универсальный инструмент, чтобы пролетарий и колхозник, несмотря ни на что, сто лет трудился с полной отдачей сил. И партия нашла его! Этот инструмент – страх.

– Страх? – оторопело спросил Николай Иванович.

– Страх! – подтвердил Смирнов. – Нужно нагнать такого ужаса на страну, чтобы трудящийся думал не о том, что у него одна-единственная пара штанов и та не в порядке, а чтобы он думал, как бы не угодить на цугундер за пессимизм... Вот тогда он точно будет нас сто лет корячиться за пайку хлеба, тем более что мы вооружим его теорией и мечтой.

Собственно говоря, ничего нового Николай Иванович не услышал; все, о чем толковал Смирнов, ему было ясно даже задолго до процесса Промпартии, однако на него так действовала атмосфера подземелья и проникновенная интонация собеседника, что давно известное как-то само собой принималось за новину². То-то он сказал Смирнову:

– Какой цинизм!

– Да, цинизм, – отвечал ему собеседник, – в этом отношении спору нет. Но ведь мы с вами не цветоводством занимаемся, мы разгребаем вековые авгиевы конюшни, с г... дело имеем, какие уж тут ромашки и васильки!.. Зато через сто лет мы построим стопроцентный коммунизм, и советские люди будут рыться в благах цивилизации, как в сору!

И опять Смирнов сделал тот самый занятный жест: щелкнул пальцами и как бы отшвырнул от себя щелчок. И опять Николай Иванович подумал, что где-то он видел этого человека, вот только трудно припомнить, где.

– Исходя из вышеизложенного, – продолжал Смирнов, – партия решила, что наиболее видные большевики должны оклеветать себя перед народом и пойти под расстрел ради торжества коммунизма в мировом масштабе и навсегда!

– Одно непонятно, – сказал Николай Иванович, – это какие же преступления нужно на себя взять, чтобы суд подвел тебя под расстрел?

– Да вот хотя бы: Максим Горький, конечно, умер своей смертью, а мы с вами скажем, что его убили правотроцкистские главари... Допустим, они его нарочно простужали, устраивая в доме постоянные сквозняки...

– Но ведь это курам на смех! Кто поверит, что председатель Совета народных комиссаров Александр Иванович Рыков нарочно устраивал Горькому сквозняки?!

– Кто поверит... – с ласковой усмешкой сказал Смирнов. – Да все поверят, мать родная поверит, не говоря уже о простых тружениках города и села. Вы, Николай Иванович, всю жизнь по подпольям мыкались да по границам и потому не знаете нашего народа, каков он есть. Наш народ во что хочешь поверит, ему и доказывать ничего не надо, а надо только веско сказать от лица партии: ребята, кругом враги! Он даже сладострастно поверит в засилье врагов, особенно если они из начальства, особенно если им какие-нибудь невероятные преступления приписать. Потому что чем невероятнее, тем страшней! Он даже потом поверит, что и сам враг, только не успел себя проявить. Поверит и ужаснется, и этого ужаса хватит на сотню лет.

Николай Иванович подумал: самое страшное, что все это чистая правда, что именно так и есть.

– Одним словом, будем разоружаться перед пролетариями всей земли. В порядке партийной дисциплины. Коммунист вы, е-мое, или не коммунист?!

Начиная с того памятного визита Смирнов появлялся в камере у Николая Ивановича каждый день. Они на пару сочинили подробные показания, сообразуясь с бумагами подельников по правотроцкистскому блоку, развели эпизоды, проработали даты и имена. Достоверности ради Смирнов настоял на том, что Николай Иванович лично не участвовал в покушении на жизнь Ленина и не вступал в прямые переговоры с фашистскими эмиссарами насчет дебольшевизации СССР. Как они со Смирновым сочинили, так на суде Николай Иванович и говорил.

Накануне последнего судебного заседания, после прогулки, Николай Иванович сел за стол, пододвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу и призадумался, глядя на мутную лампочку, забранную снизу решетчатым колпаком. Нужно было дописать последнее слово подсудимого, и он обдумывал, как и что. Вдруг отворилась дверь камеры, и вошел Смирнов, от которого повеяло запахом одеколона и папирос.

– Ну, как дела? – участливо спросил он и подхватил со стола листок.

– Ничего, – отвечал Николай Иванович, – в сущности, осталось только отшлифовать. Вот, например, такая фраза: «Я, однако, признаю себя виновным в злодейском плане расчленения СССР...» «Однако»-то тут при чем?..

Николай Иванович поднял глаза на Смирнова и опять подумал: где же он все-таки видел этого человека, при каких обстоятельствах и когда?

Уже после того, как был вынесен приговор и «маруся» повезла Николая Ивановича в неизвестном направлении, он вдруг все вспомнил и от неожиданности даже хлопнул себя по лбу. Ну конечно: он видел этого человека в 1904 году в Харькове, но тогда фамилия его была Штерн, давал он представления черной магии и, когда понуждал господ из публики становиться на голову и окаменевать в этой нелепой позе, всегда делал занятный жест – щелкнет пальцами и как бы отшвырнет от себя щелчок.

Пангеометрия

Летом в Казани бывало ветрено и такая стояла пыль, что она, как лондонский туман, скрадывала перспективу, ниже – окрестные заборы, фонарные столбы, палисадники и дома. Если же еще и коров гнали мимо университета, то словно сумерки наступали до срока – такая тогда находила темь.

Как раз коров гнали мимо университета, и Николай Иванович (совсем другой Николай Иванович), глядя в окно, которое застили палевые клубы пыли, теребил себя за ухо и вздыхал.

– Бишь, о чем мы с вами? – наконец сказал он и перевел на собеседника невидящие глаза.

Собеседником его был экстраординарный профессор Вагнер, моложавый господин в золотых очках, единственный человек во всей Казани, с которым Николай Иванович говорил; он уже два года как ослеп, стал слаб на левое ухо и вовсе не говорил.

– О Боге⁷, – подсказал Вагнер. – То есть о том, что ваша теория вносит известную сумятицу в понятие о гармонии, бесконечности и вообще. Всякий скажет, что ежели Большая и Малая Дворянские улицы не пересекутся, хоть ты вокруг света их протяни, а в созвездии Персея пересекутся, то Бога нет. Это даже всякий простолюдин, который знает грамоте, прочитает вашу «Пангеометрию» и скажет, что Бога нет...

⁷ Специальным указом императора Николая Павловича слово «бог» было велено писать с маленькой буквы, хотя бы и произносилось оно с большой.

– Простолюдин так далеко не забирается, – возразил Николай Иванович. – У него своя логика, простая и универсальная, как топор. Он и про образа говорит: «Годится – молиться, не годится – горшки покрывать»... Да вот мы сейчас с вами поставим эксперимент...

В кабинет как раз вошел университетский сторож Герасим, аккуратно неся перед собой поднос, на котором стояло блюдо бисквитов и пара чая.

– Послушай, Герасим, – обратился к нему Николай Иванович, – вот некий европейский ученый утверждает, что Бога нет...

Герасим некоторое время молчал, но молчал как-то приговорительно и умно. Он освободил поднос, проверил глазами, все ли в надлежащем порядке, затем сказал:

– Это он, чай, в том рассуждении ученый, что какое-никакое образование превзошел..

– Нет, это настоящий ученый, имя ему – Лаплас.

– Хорошо! А кто же тогда все это придумал? – И Герасим кивком указал на череду тополей, которые смутно виднелись сквозь запыленные стекла окон.

– А никто. Само по себе взялось.

– Как это – никто?! Вот, скажем, пароход;⁸ разве он сам по себе взялся? Нет, его господин Уатт выдумал, так и тут. Значит, и деревья, и реки, и звезды на небе – все это суть произведения Божьи, которые он придумал и сотворил.

– По крайней мере, логично, – заметил Вагнер, когда Герасим поклонился столешнице и ушел.

Николай Иванович заметил:

– Вот вам и простолюдин!

– Герасима-то понять можно, а вот вашей теории искривленного пространства понять нельзя. То есть ее нельзя понять без того, чтобы не прийти к отрицанию Божьего бытия. Ведь если в пределах одной планеты прямая есть прямая, а в районе созвездия Персея она вдруг превращается в кривую, то Бога нет. Потому что Бог, в частности, есть система, сама гармония, вечность и неизменчивость как закон. Наконец, просто-напросто непонятно, с какой такой стати прямая дает эту самую кривизну...

– Разные могут быть причины, – сказал Николай Иванович, – например, неравномерная сила притяжения разных небесных тел⁹. Если мы возьмем за прямую световой луч, то он неизбежно подвергнется искривлению, минуя какую-нибудь гигантскую планету или звезду, скажем, тот же Альдебаран.

– Это все из области мечтательного, ваше превосходительство, а простой опыт нам говорит: зримый мир представляет собой систему, подчиненную вечному и неизменному закону, имя которому в конечном итоге – Бог.

– Это несомненно, – согласился Николай Иванович, – но несомненно еще и то, что природа вариативна и допускает сосуществование таких разнородных стихий, как горение и вода. Между тем жизнь на нашей планете зародилась, по-видимому, именно в результате взаимодействия горения и воды¹⁰. Человеческое инвариантно, тут спору нет, но уже общественное в Европе так, а в России сяк. Положим, революция во Франции, может быть, и благо, а в России страшнее ее только засуха и чума.

– Кстати, о Франции... Тут мне случайно попался в руки отзыв академика Фусса на вашу книгу. Вот что он пишет...

Вагнер достал из кармана осьмушку бумаги и стал читать:

⁸ Первоначальное название паровоза.

⁹ Что и было доказано Эйнштейном столетие спустя, в 1916 году, когда европейцы утешались своим излюбленным занятием, именно резали друг друга за рынки сбыта.

¹⁰ И это предположение было подтверждено исследователями нуклеиновой кислоты.

– «Но сочинение сие не есть геометрия или полное и систематическое изложение всей науки, и если сочинитель думает, что оно может служить учебною книгою, то он сим доказывает, что он не имеет точного понятия о потребностях учебной книги, то есть о полноте геометрических истин, всю систему начального курса науки составляющих, о способе математическом, о необходимости точных и ясных определений всех понятий, о логическом порядке и методическом расположении предметов, о надлежащей постепенности геометрических истин, о неупустительной и, по возможности, чисто геометрической строгости их доказательств и прочее. А всех сих необходимых качеств и следу нет в рассмотренной мною геометрии, в которой, между прочим, и то странно, что сочинитель принимает французский метр за единицу при измерении прямых линий и сотую часть четверти круга, под именем градуса, – за единицу при измерении дуг круга. Известно, что сие разделение выдуманно было во время французской революции, когда бешенство нации уничтожить все прежде бывшее распространилось даже до календаря и деления круга; но сия новина нигде принята не была и в самой Франции давно уже оставлена по причине очевидных неудобств...»

На этом Вагнер сложил бумажку, спрятал ее во внутренний карман вицмундира и изобразил глазами восклицание – «каково!».

– Ну что же, – сказал Николай Иванович, – по-своему коллега Фусс прав, то есть он прав в пределах своего времени, нашей планеты и косного воззрения на тела.

– Позвольте с вами не согласиться: этот Фусс не то что в пределах планеты, – кругом не прав! То, что вы, ваше превосходительство, сделали в математической науке, – это революция, это такое открытие, которое можно приравнять к открытию Колумбом американского континента, с той только разницей, что ваша «Пангеометрия» нужна, а Америка не нужна.

Николай Иванович потрогал себя за ухо и сказал:

– Бог с вами, профессор, кому нужна моя «Пангеометрия», – в сущности, никому. Вон академик Фусс, прошу заметить, далеко не дурак, и тот вцепился зубами в Эвклида, как какой-нибудь Шарик в кость.

– Однако же Гаусс высоко ставит ваше астральное учение о прямых...

– Что Гаусс... Он, поди, прочитал мои «Начала» и думает: ты гляди, даже в Татарии они чего-то там кумекают насчет бесконечно малых, ну как этим диким не порадеть! Нет, профессор, простым людям нужны только простые истины, вроде «не укради» и «не убий». А чуть что отвлеченнее этих истин, то первым делом наводит простака на подозренье, что Бога нет.

– Это вы уж как хотите, а если параллельные прямые пересекаются в бесконечно удаленной точке Вселенной, то действительно Бога нет. Вот вы говорите, что демиург вариативен как творец, но тогда позвольте простой вопрос: как же Бог вариативен, если он непоколебимо стоит на истинах «не укради» и «не убий»?

– Позвольте, профессор: а «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»? – разве это не развитие Бога в себе от закона мщения до требования любви?!

– И что же из этого следует?

– А то из этого следует, что Бог не статичен, что он развивается, как и все, как материя, как понятие о материи, как сама способность ее постичь. Просто-напросто человеку, взятому как личность, то есть в силу дискретности его опыта, не дано обнять Бога в развитии, и он полагает, что Бог – это нечто бытующее неизменно, изначально и навсегда...

Дверь кабинета приотворилась, и в проеме появилась полуфигура университетского сторожа Герасима.

– Братец, за вами пришли, – обращаясь к Николаю Ивановичу, сказал он.

С тех пор как Николай Иванович получил отставку, ослеп, стал слаб на левое ухо, перестал говорить с кем бы то ни было, за исключением экстраординарного профессора Вагнера,

вложил все наличные средства в рационализацию имения Слободка и прогорел, он вынужден был продать свой выезд и передвигался по городу в сопровождении младшего брата Алексея Ивановича, которого все знали как пьянчужку и дурачка. И действительно, Алексей Иванович много лет беспробудно пил, по Казани же ходил в старом персидском халате, надетом поверх исподнего, на голове носил крестьянский войлочный колпак, на ногах – коты.

Впрочем, к причудливой этой паре давно привыкли, и когда братья под руку вышли из университета, – младший в идиотском своем наряде, старший в вицмундире с Анненской звездой и двумя крестами, – дела до них не было никому. Двое мещанок на Соборной площади продолжали таскать друг друга за волосы, будочник задумчиво нюхал табак, где-то неподалеку кричал петух.

По пути домой трижды останавливались у трактиров: Алексей Иванович шел выпить рюмочку, а Николай Иванович дожидался его на дощатой панели, опершись на палочку, и так внимательно смотрел себе под ноги, точно он что-то важное потерял. Под конец младшего уже заметно носило из стороны в сторону, и казалось, будто бы оба брата не в своем виде, что называется, подшофе.

После обеда Николая Ивановича засадили играть в лото. Прежде он, бывало, играл и в карты, чтобы не отстать от домашних, но, когда перестал различать масти, стал на ощупь играть в лото.

– Папенька, ну скажите что-нибудь, – просила его дочь Софья и делала плачущие глаза.

– Барабанные палочки, – скажет Николай Иванович тихим голосом, и супруга Варвара Алексеевна прикроет клетку лепешкой из сургуча.

Повелитель бурь

Когда из Парижа пришло известие, что Гражданин мира издал брошюру «О развитии революционных идей в России», Николай Васильевич загрустил. Да и как было не загрустить, если, по словам господина Тургенева, все его сочинительство выставлялось в сей злощастной брошюре как только история болезни, написанная рукой мастера, как крик ужаса и стыда... Стало быть, ему прямо приписывалось подстрекательство к бунту против властей предержавших, стало быть, его производили в виновники всех предбудущих потрясений и мятежей... Это его-то, отца Акакия Акакиевича и Пульхерии Ивановны, поборника христианских настроений, певца сострадания и любви!

Хуже всего было то, что Николай Васильевич и сам прозрел поджигательное направление своего творчества, причем прозрел основательно и давно. И даже не далее как третьего дня он говорил графу Толстому, сбиваясь и горячась:

– Что пользы в том, чтобы обличить порок, выставя его во всей омерзительной наготе, коли тебе самому не ясна его противоположность, человек добродетельный, идеал?.. Что толку обличать одни недостатки брата твоего, когда ты прежде не задал себе вопроса: а в чем же заключаются его достоинства и каковы его представления о добре? Чего ради осмеивать печальные исключения, если ты не узнал хорошенько правило, из которого ты делаешь исключения? Ведь это было бы то же самое, что разрушить старый дом прежде, чем будет построен новый... Но искусство не разрушение, не так ли?

Граф Толстой отвечал, попыхивая трубкой:

– Это, положим, так...

Николай Васильевич занимал у графа две небольшие комнаты в первом этаже, и они иногда говорили о том о сем. Но чаще он был настолько занят своими мыслями, что по неделям не выходил. Он сомнамбулически бродил от конторки к печке и от печки к конторке в двух жилетах, стеганом халате и шерстяном платке, завязанном по-старушечьи на спине, поживался от холода (в последнее время он что-то стал мерзнуть) и размышлял.

Мысли его были огорчительны и печальны. Обыкновенно он размышлял о том, как же это так странно вышло, что он, сочинитель вообще благонамеренный и любовный, весь свой век описывал уродов и сволочей? Что за вредный червь в нем засел, откуда взялась эта отравленная предрасположенность дарования, которая всегда влекла его ко всему глупому и гадкому в человеке, а к доброму и разумному не влекла? Между тем нет более губительной стези в изящной словесности, чем обличительная стезя. Ибо все общественные поползновения на Руси более или менее литературны, они преследуют своей целью отнюдь не мелкомеркантильные интересы, а непременно равенство состояний и Китеж-град! Следовательно, страшнее холеры такой писатель, который, обличая, отягощает сердца и расстраивает умы, вместо того чтобы способствовать консолидации сил добра. Ведь именно в эту точку метит величайшая из книг, обретенных человечеством, Евангелие, в которой и близко ничего нет про уродов и сволочей... Любопытно, что было время, когда он сам возмечтал оставить по себе что-то вроде второй Библии, по которой впредь существовал бы его народ. И силы он в себе чувствовал для этого, и в другой раз мерещилось, точно сам Господь водит его рукой... А в результате останется после него энциклопедия русской дурости, несчастная Книга поучений и беспомощные записки... как раз насчет консолидации сил добра.

Войдет в переднюю комнату казачок Семен, его крепостной мальчик, и грохнет об пол вязанку дров. Николай Васильевич поморщится от досады, но развиться недоброму чувству в себе не даст.

– Граф велели сказать, что ваше кушанье готово, – сообщит ему казачок. – Прикажете принести?

В ответ Николай Васильевич сделает отрицательный жест рукой. (Хотя у Толстых для него готовили отдельно, преимущественно экзотические блюда, вроде мамалыги, в последнее время у него напрочь отсутствовал аппетит.)

Ну так вот: насчет консолидации сил добра... Бесконечно прав был Александр Христофорович, когда говорил в сердцах, что вот, дескать, иностранные писатели все пишут жизненно, про то, как Фриц осчастливил Гретхен, или про то, как г-н Дюпле нажил себе капитал, а русским обязательно нужно в каждый горшок плюнуть... истинно так и есть! Разве что Пушкин не следовал этой моде, а так кого из писателей ни возьми, все сочиняют про обидчиков да беду. Или такова особенность русской жизни, что ее можно только избличать... В этом случае, то есть коли литература у нас не может иначе, то не нужно в России никакой литературы, потому что это каждый писатель выходит злодей своему отечеству, заводчик вражды, повелитель бурь... Лучше уж загодя ослепнуть, как бедный Козлов, или лишиться рассудка, как бедный Батюшков, а всего лучше вот прямо сейчас лечь на кушетку и умереть. Слава Богу, русский писатель есть лицо настолько всемогущее, что ему ничего не стоит лечь на кушетку и помереть...

В комнату в другой раз войдет казачок Семен.

– Граф спрашивают, не угодно ли вам чаю? – скажет казачок, утирая нос.

Николай Васильевич прикрыл ладонями уши и вздохнул протяжно и глубоко.

Ну так вот: лечь на кушетку и умереть... А то заживешься, тебя, не ровен час, как раз привлекут к ответу за то, что ты распался умы. Да закуют в железа, да поведут по улицам под конвоем, да посадят на хлеб и воду – и поделом: не клеветчи, сударь, на свое отечество, не выставляй его перед Европой в сатирическом виде, а пиши про то, что на Руси дельно и хорошо. Ведь сколько действительно славного в русской жизни, какие несметные добродетели заключаются в русаке! Знай только направляй свой талант сообразно назначенью литературы, которое заключается больше в том, чтобы осветить все лучшее, что есть в человеке, и тем самым благотворно воздействовать на умы. Не то найдется какой-нибудь благородный изгнанник, Гражданин мира, который сейчас сделает из тебя зачинщика всех предбудущих потрясений и мятежей...

Иное, что стоит только обратиться к светлым сторонам жизни, к тому, что на Руси дельно и хорошо, как почему-то получается ерунда... Ну что такое Тентетников по сравнению с Селифаном? – кукла! а князь по сравнению с прокурором? – совершенно ходульный тип! О чем это говорит: это, скорей всего, говорит о том, что России не органична положительная литература, а органична ей как раз литература озлобленная, огорченная, язвительная и сдобренная слезой. Тут уж ничего не поделаешь, – какая жизнь, такая и литература, по Сеньке шапка, по званию честь. Тогда опять же приходишь к заключению, что лучше вовсе не писать, бросить это греховодничество, как советует отец Матвей, протоиерей ржевский, а уйти в монастырь, что ли, а то лечь на кушетку и умереть. Ведь что грехов-то, что грехов-то! за три жизни не замолить... А главный грех тот, что ты более двадцати лет только и делал, что выводил на позор уродов и сволочей. Это как же мало нужно для того, чтобы погубить свою бессмертную душу, а заодно целую нацию и страну! Конторка, бумага, перо, покой – и вот уже не коляска пройдохи, а государство летит под откос и валандается в грязи... Видится, явственно видится, что ожидает отечество впереди. Уже, кажется, вполне проклянулся ответ на вопрос: «Русь, куда несешься ты?» – прямехонько к царству антихриста, и в этом виноват он! он! он!

В третий раз явится казачок Семен, человеконенавистнически скрипнув дверью.

– Граф интересуются, чи вы поедете Екатерину Михайловну хоронить?

– Ни за что! – вырвется у Николая Васильевича, и он закроет глаза рукой. (С некоторых пор он боялся покойников, вернее, вид смерти был ему остро невыносим.) Как-то номинально горела свеча в простом медном подсвечнике, в окошках стояла загробная московская тьма, за иконой в серебряной ризе панихидно пищал сверчок.

... Да, смерть, неумолимая неизбежность эшафота в конце пути, смерть, которая ходит рядом, и от нее уже тянет погребом, затхло и несколько сургучом. А впрочем, чаша испита до последней капли, все, что предопределено совершить доброго и худого, совершено, и, в сущности, незачем дальше жить. Более того: уже и лишек у Бога зажил, с самого сорок третьего года, с господина Башмачкина незачем было жить. Хотя, может быть, живут не для свершений и не для славы (что, действительно, за удовольствие быть известным в Тамбове, куда тебя самого не заманишь и калачом), а для чего-то иного, на удивление простого, например, ради счастья просто существовать. В таком случае литература, прочие художества, карьера, завоевание Галлии – это все способы препровождения времени, это так... Ну писал, ну мыслил, ну стремился возбудить в соотечественнике сочувствие к малым сим, а помрешь, и нет ничего, будто и не писал. Да и что от тебя останется, кроме жилетов и панталон? энциклопедия русской дурости, несчастная Книга поучений и беспомощные записки насчет консолидации сил добра. Так что вспомянет тебя потомство, нет ли, – это еще вопрос.

А если и вспомянет, то разве недобрым словом. Скажут: сам, поди, жил барином, мамалыгу кушал, по италиям прохлаждался, а писал все про уродов да сволочей и в результате накачал народу на шею таких разбойников, которых даже в стране Марата и Робеспьера невозможно вообразить... Он, видите ли, вывел Акакия Акакиевича, всеми обижаемого, у которого вдобавок украли его драгоценную шинель, а народ начитается этаких-то жалостных сочинений и такую устроит бучу, что мелкой неудачей покажется уворованная шинель! Потому что народ, огорченный литературой, знает только одно средство решения всех вопросов общественности – топор. Святые угодники! как подумаешь, что в этих двух маленьких комнатах, в чужом доме у Никитских ворот, и находится то самое гнездо, где вылупилась птица Гамаюн, откуда пошла зараза неудовольствия и вражды, так, кажется, нет такой казни, которую ты бы не заслужил. Что бы такое над собой сделать, чтобы смыть с себя этот страшный грех?! Да вот только и остается, что лечь на кушетку и умереть...

А все проклятая обличительная стезя! Нет, надо срочно умирать, а то как раз привлекают к ответу за то, что ты распаял умы. Да закуют в железа, да поведут по улицам под конвоем,

да посадят на хлеб и воду – и поделом: не клевети, сударь, на свое отечество, не выставляй его перед Европой в сатирическом виде, а пиши про то, что на Руси дельно и хорошо. Ведь сколько действительно славного в русской жизни, какие несметные добродетели заключаются в русаке! Знай только направляй свой талант сообразно назначению литературы, которое заключается больше в том, чтобы осветить все лучшее, что есть в человеке, и тем самым благотворно воздействовать на умы. Не то найдется какой-нибудь благородный изгнанник, Гражданин мира, который сейчас сделает из тебя зачинщика всех предбудущих потрясений и мятежей...

Иное, что стоит только обратиться к светлым сторонам жизни, как почему-то получается ерунда...

Казачок Семен и в четвертый раз побывает в передней комнате отпроситься со двора якобы за бельем к прачке Елизавете, а на самом деле на предмет драки с мальчишками из Девятинского переулка, но Николай Васильевич не услышит его речей. Он будет смотреть в черный квадрат окна, и в глазах его застынет такое страдание и тоска, что будто бы он воочию видит императора на окровавленном снегу, русских министров, которых препровождает в крепость команда свихнувшихся моряков, ночной расстрел в гараже под урчание двигателя внутреннего сгорания, черную «марусю» у богатого подъезда, собрание московских литераторов, обличающее театральные критиков еврейской национальности, и в частности его Акакия Акакиевича, который сладострастно отделяет товарищей по перу.

Капитан Костенко

Случай этот действительно произошел осенью 1916 года, в самый разгар второй Отечественной войны, она же Великая, империалистическая и первая мировая; случай этот, между прочим, дает понять, что даже рок на Руси действует хотя и неотвратно, но как-то околицей, путано, словно сдуру. Ну а уж если сам рок у нас работает абы как, то Россия точно – многообещающая страна.

Так вот, осенью 1916 года, чудесным октябрьским днем, когда еще смугло зелены лес и поле, но уже и небо пооблиняло, и солнце день-деньской светит по-вечернему, и вообще природа впадает в какую-то тихую дурноту, капитан Костенко сидел в буфете первого класса на вокзале города Могилева и пил жидкий чай вперемешку с трофейным германским ромом.

Собственно, в этом тыловом пункте капитан находился по той причине, что он начальствовал над 14-м корпусным авиационным отрядом, который прикрывал Ставку Верховного главнокомандующего от налетов неприятельских «бранденбургов», и его отряд стоял в десяти километрах за Могилевом по дороге на город Быхов.

Нарочно заметим, что капитан Костенко командиром был нестрогим, летчиком отважным, а офицером примерным и, словно в пику возмутительному разгулу, который свирепствовал в авиационных частях с самого начала военных действий, лишь изредка позволял себе выпивать на вокзале да время от времени наведывался в селение Куропатовку, в лазарет, где служила его пассия – сестра милосердия Урусова-Чеснокова.

Капитан Костенко уже собрался расплачиваться за чай – ром у него был свой, так как по случаю «сухого закона» спиртного в империи не полагалось ни распивочно, ни на вынос, – когда к его столику подошел отрядный вестовой по фамилии Филиппок; вестовой сделал фронт и доложил на гвардейском русском¹¹, что в отряде с часу на час ожидается прибытие великого князя Александра Михайловича, который тогда был шефом военно-воздушных сил.

– Выпей, Филиппок, за здоровье государя императора, – сказал капитан Костенко и налил вестовому чайную чашку рома.

– За нашего императора пускай выпивают в германском штабе, – сказал Филиппок, однако моментально опорожнил посудинку с алкоголем.

Это у них была такая шутка, которая при удобных обстоятельствах повторялась из раза в раз. Она, чай, могла бы показаться нам непонятной, даже и невозможной, если бы мы не знали, что к шестнадцатому году по всей русской армии распространилось твердое убеждение: в царской семье гнездится государственная измена. С год уже офицерство открыто костило царскосельскую камарилью, по рукам ходили злые карикатуры на императорскую чету и стенограммы думских речей, в которых прикровенно обличались коронованные виновники поражений российских войск, и капитан Костенко не только разделял это всеармейское убеждение, но и постоянно обдумывал, чем бы помочь несчастью, как обдумывают разве что фамильные неурядицы или собственную судьбу. По его соображению, зло необходимо было с корнем вырвать из русской почвы, и он мысленно изучал разные способы покушения на царя. Между тем капитан был законченным монархистом и никого так не презирал, как господ кадетов и Милюкова, по глупости подточивших в глазах общества идею самодержавия, причем его политические установки носили характер настолько кровный, что он самой жизни не пожалел бы ради упрочения желательного государственного устройства. Такое, именно что семейное, отношение к родимому этатизму можно, конечно,

¹¹ Гвардейский русский от русского как такового отличался, в частности, некоторой вялостью, искусственными носовыми и английской манерой выделки звука «а». Прежде Филиппок служил в конной гвардии тромбонистом.

объяснить тем, что частная жизнь у нас слишком ощутительно зависит от капризов центральной власти и даже от состояния отдельно взятого желчного пузыря, однако не следует сбрасывать со счетов и той сердечной всеобщности нашего русака, которая делает его чрезмерно чувствительным к гражданской стороне жизни и в зависимости от стечения обстоятельств подбивает то на подвижническое служение государству, то на отрицание отрицания, то на бунт. Вот человек умеренного, положим, романо-германского строя чувств, как правило, хладнокровно взирает на бесчинства парламентов и правительств, но в России стоит только властям предрезающим покуситься на привычный покроем одежды, как сразу отставники встают на нижегородцев, а демократы на молокан. Впрочем, царевбийственные планы капитана Костенко были скорее мечтательными и не предусматривали исполнения во что бы то ни стало, космогонии вопреки, просто на досуге ему приятно было в деталях обдумывать покушение на царя и умственно рисовать себя национальным героем, который одним ударом устранил первопричину всех отечественных несчастий и таким образом спас страну. Способ убийства он выбрал ни на что не похожий, даже колоритный, однако во всяком случае обеспечивающий успех.

Капитан Костенко подозревал человека, прислуживавшего в буфете, чтобы расплатиться за пару чая, но сколько ни рылся в роскошной кожаной куртке с черным бархатным воротником, которой завидовали офицеры всех прочих родов оружия, все никак не мог отыскать свой бисерный кошелек. Тогда он велел буфетчику записать за собой должок; буфетчик стал было канючить, говоря: «Помилуйте, ваше высокоблагородие, тут всего и делов-то на гривенный серебром», и Костенко пришлось оборвать штафирку.

Выйдя на привокзальную площадь, капитан уселся в плетеную бричку, вестовой Филиппок поместился на облучке, и вскоре они уже трусили по колдобистой дороге на город Быхов.

– Слушай, Филиппок, ты когда-нибудь про философа Гегеля слышал? – спросил капитан своего возницу.

– Никак нет.

– Так вот этот самый Гегель сказал, что все разумное действительно, а все действительно разумно. И вот я гляжу по сторонам и спрашиваю себя: ну что может быть разумного в такой паскудной действительности, в этих курятниках, недостойных имени человеческого жилья, в этой непроезжей грязи, в никчемных скифских просторах, где теряется человек, и, к примеру, зачем вон тот пьяный белорус лупит козу лопатой? Чудак был этот Гегель, как ты думаешь, Филиппок?

– Не могу знать.

Трудно определить, что именно было тому причиной – то ли чудесный октябрьский день, то ли несуразность гегелевской философии, то ли приятное мление, вызванное неспешной ездой и ядреным германским ромом, – но капитан вдруг решил завернуть по пути в селение Куропатовку и решительно объясниться с сестрой милосердия Урусовой-Чесноковой. Опоздать в отряд к приезду великого князя Александра Михайловича он нимало не опасался, так как отлично знал, что романовское «с часу на час» способно растянуться до пары суток.

Урусову-Чеснокову, девушку лет двадцати пяти, с острыми ключицами, выпирающими из-под глухого форменного платья, пресным лицом и жидкими белесыми волосами, капитан застал за чтением «Русского паломника», который она выписывала в числе целой дюжины газет, журналов и альманахов. Капитан снял фуражку, щелкнул каблуками и присел к столу, отодвинув в сторону букетик засушенной резеды. В горле у него немедленно запершило, дало знать о себе сердце, то обмиравшее, то начинавшее рваться из грудной клетки, да еще от приступа сладкой нежности стали немного косить глаза. Несмотря на то, что влюблялся он часто, как минимум раз в году, объяснения ему, как правило, не давались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.